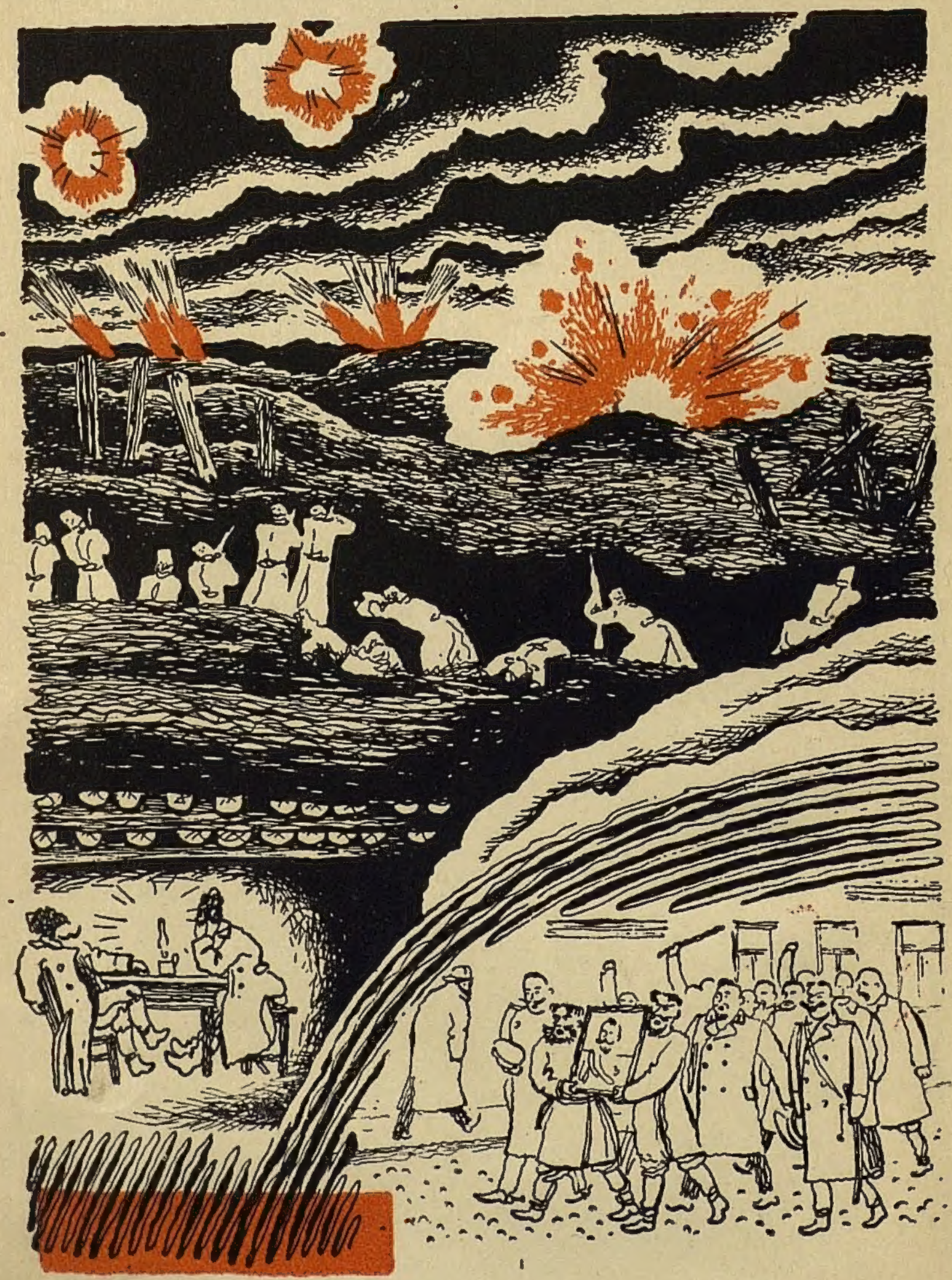
Антон Ульянский

К 98 3/27

Немца

ЧЕТЫРЕ НЕМЦА

[illegible]



Антон Ульянский

К98 3/27

ЧЕТЫРЕ НЕМЦА

Издательство Писателей в Ленинграде

№ 309

Отпечатано для Издательства писателей в Ленинграде в количестве 5300 экз. — 5 1/8 л. типографией «Печатный Двор», Ленинград, Гатчинская, 26. Заказ № 384. Лен. Горлит № 62881. Переплет и супер-обложка М. Кирнарского. Сдано в набор 13/XII 1932 г. Подписано к печати 24/II 1933 г. Формат 72 × 110 см. Порядковый № 22. Тип. знаков в 1 бум. л. 64 448. Бум. л. 2 3/4. Ответств. ред. М. Козаков. Техническ. ред. Д. Бабкин.

1933

БИБЛИОТЕКА
Государ. Истории. Музея
№ 10394
„18" IX 1933 г.

1

В пятнадцатом году лѣтом люди на фронте не задерживались. Иной полгода готовился, думал применить познания, приучал нервы к потрясениям, а приехал и точно в очко присел сыграть, полчаса побыл, и нет его. И даже потрясающего ничего не увидел: какой-нибудь окоп N взвода N роты N полка, сажен в двадцать длиной, а перед ним дымок...

Начальник дивизии, в которую попал Криппе, был ученый генерал, — любил произносить речи перед прапорщиками, проезжавшими через штаб, — и у генерала был пункт: укроп в супе. Когда в числе других приехал Криппе, генерал отвел прапорщиков в сторонку, сверкнул глазами, заговорил о России, о доблести, о седых знаменах, — с большим подъемом начал, но затем — не уследить, каким ходом мыслей — свернул все-таки на укроп.

— Укроп в супе — что такое? Пустяк! А от него суп вкуснее... Многие из вас будут ротными командирами, пусть почаще заглядывают в ротный котел, пусть помнят о пустяках. Солдат увидит, что командир о нем заботится, и на такого командира он иначе посмотрит. И вот уже нитка между вашими сердцами, залог взаимного понимания, общность чувства, основа воинской дисциплины...

И понемногу из укропа, на глазах прапорщиков, вырастала любовь, спайка офицера и солдата, беззаветная преданность, готовность итти на что угодно.

— И вот увидите, — вскричал генерал, доведя дело до высшей точки, — в решительный момент солдат вас не оставит: половина — кой чорт половина! — три четверти за вами пойдут...

Прапорщиков это место речи смутило: какая половина, какие три четверти, когда полагается итти всем по первому слову и без всякого укропу? Спросить не посмели, но генерал и сам увидел, что им что-то непонятно.

— Потому что не все выдерживают, — сказал он глуше и точно по секрету. — Нельзя требовать: люди!

И посмотрел мимо глаз, как бы прося снисхождения, не по-генеральски, а как неглупый старикан, который кое до чего додумался. Тут кстати упал саженях в пятидесяти снаряд, для прапорщиков первый, они посмотрели с любопытством, генерал — с гримасой, встряхнулся, поднял брови, чтобы продолжать речь, сверкнул глазами.

Дальше опять пошла официальная часть: дисциплина, серые богатыри, связь, разведка... И между прочим было сказано:

— Теперь уже ни для кого не секрет, что апрель и май были для нас неудачны. Но сейчас дела поворачиваются к лучшему: предвидится наступление. Ваше дело, господа, помнить, что люди в окопах нужны немедленно...

В довоенных петербургских газетах на последней странице помещался отдел: «Сегодняшняя площадка». Здесь сообщались сведения о количестве скота, поступившего на городскую бойню. Быки делились по сортам — на черкасских и иных, мелкий рогатый скот давался круглым числом.

Во время войны среди штабных шутников было в ходу применять термин «сегодняшняя площадка» к эшелонам, отправляемым на фронт. Роль мелкого рогатого скота отводилась офицерам ускоренного курса, выпускаемым из военных училищ и школ прапорщиков. Эти школы работали в десятках городов, и каждая из них раз в три месяца давала площадку в 400—500 голов, которые отправлялись на фронт.

Около генерала в данный момент стояли пред-

ставители различных площадок, уже пропущенные через маршевые батальоны. Надо отметить, что своим видом они меньше всего напоминали быков, ведомых на убой. Убойное выражение появлялось у них позже.

Сейчас это были молодые улыбающиеся люди, с неистраченной психологией ландскнехтов, в большинстве добровольцы, чрезвычайно заинтересованные тем, что их ожидало.

Четыре месяца назад они были штатскими людьми: студентами, конторщиками, тюремными чиновниками, вышибленными гимназистами, сельскими учителями, телеграфистами, землемерами, псаломщиками. От кадрового офицерства они отличались так же, как актеры-любители отличаются от профессионалов. За четыре месяца им дали очень немного военных знаний, но зато основательно приучили к мысли о собственной смерти. Они так свыклись с необходимостью провести свои биографии через какой-то решительный момент, что если б генерал вдруг объявил им, что они могут ехать домой, то наверное многие бы остались, чтобы все-таки испытать то, что им полагалось.

В саду бобовые цвели синими и розовыми незаметными цветочками. Бобовые стояли шпалерами по обеим сторонам дорожки. Прапорщик Криппе в ожидании бумажки с назначением в полк ходил по дорожке и вглядывался в цветочки.

Прапорщик Цебрик, юморист с красными глазками, свернув в ту же дорожку, задержался около Криппе, подмигнул в сторону генерала и весело объявил:

— Попали мы с вами как кур во щи...

Это был его вывод из генеральской речи.

— Как кур... — повторил он, трясясь от смеха, и сузил глазки, точно собирался заплакать.— Ей богу, как кур...

Криппе молчал. Вывод из генеральской речи был у него такой же, но разговоры тяготили его. Перед кон-

чиной он дорожил временем. Ему хотелось смотреть на бобовые, а не на прапорщика Цебрика.

На краю сада, спустив ноги в канаву, сидели пленные чехи: три десятка папаш, бронзовых, обросших волосами. Они курили трубки с ожесточением людей, желающих куревом перешибить голод. Часовые с любопытством смотрели на их бюргерские пивные трубки с кисточками и разрисованными фарфоровыми чашками. Молодой австрийский немец, с нашивкой пулеметчика на рукаве, лежал в сторонке и подозрительно вглядывался в своих бывших товарищей по армии.

Генерал, возвращаясь в штаб, остановился на крыльце и длительно посмотрел в сторону чехов. Это был благосклонный взгляд победителя, но в то же время специалиста, который умеет оценить солдата со всех сторон, начиная от его призывного возраста и военной выправки и вплоть до облупленной эмали на котелке и качества его обмоток. Наглядевшись, он повернул голову, чтобы поделиться с кем-нибудь наблюдениями, и тут ему на глаза попался прапорщик Криппе.

— Как вам это нравится, прапорщик? — ласково спросил генерал, двинув очками в сторону чехов.

На генеральские вопросы полагалось отвечать, во всяком случае шевельнуть каблуками, встрепенуться, переменить выражение лица. Но штатский человек Криппе стоял журавлем и молчал. Он размышлял: нравятся или не нравятся ему чехи? Его удивляло, что у него нет ответа на этот вопрос. Даже больше: он вообще не мог думать о чехах. Они сидели в двадцати шагах, и он смотрел на них, но они не лезли ему в голову.

«Это оттого, — думал Криппе, — что сейчас я замечаю самое главное, только то, что может иметь отношение к моей судьбе. Хочу я или не хочу, но психика у меня работает по своим законам. Моя смерть — вот единственная вещь, которая ее сейчас интересует. Чехи не могут иметь к ней отношения, потому что они уже вышли из игры, — поэтому-то я их и не замечаю».

Он отметил в их позах настороженность и в то же

бремя тайное самодовольство людей, которым обеспечена жизнь. Один из них от нечего делать брил товарища походным способом, без кисточки, поливая мыльце водой из фляги.

«Они бреются, они собираются жить...— подумал Криппе с пренебрежением. — Как они вообще могли попасть в плен, если мы отступаем? Это уж последнее дело: мы бежим, а наши пленные бегут еще быстрее нас...»

Эти размышления заняли у Криппе очень немного времени, — его способность размышлять на фронте поднялась заметно для него самого, но все же генерал привык, чтобы ему отвечали скорее. Бессловесный невежливый прапорщик удивлял его.

— Я вам задал вопрос, прапорщик, — напомнил он сухо. — Я вас спросил, как вам нравятся наши чехи?

Он еще раз показал головой в сторону пленных. Он был высокого роста. Криппе увидел над собой его длинную полуседую бороду, его очки, которые блеснули при повороте. За очками были глаза, и в них Криппе различил недовольство.

— Мне, ваше превосходительство, они не нравятся, — ответил он чистосердечно. — Да и чему тут нравиться? Предел унижения сидеть вот так во вражеском штабе, а мимо ходят люди и смотрят на тебя как на каналью...

— Совершенно верно, — сказал генерал, снова делаясь благосклонным. — Плен — большое несчастие для солдата, который знает, за что он сражается. Я рад, что вы мыслите, как надлежит мыслить солдату. Но я имею в виду чехов. Они не хотят сражаться за австрийскую монархию. Они идут к нам. Вчера двадцать, сегодня тридцать, завтра может быть сотня. И если так будет продолжаться, что же получится: вражеская армия тает, она поражена изнутри, она небоеспособна...

Он жестами показал, как тает австрийская армия, и очень тонко улыбнулся своим предвиденьям, но штатский человек Криппе с откровенным удивлением смотрел на генерала, у которого в боевом балансе такую

большую роль играли несколько сотен пленных чехов.

«Сначала был укроп, — весело думал он, — теперь чехи. Если вся его программа такая, то...»

— Может быть австрийская армия станет только сильнее, если освободится от чехов, — сказал он неуверенно, но в это время перед крыльцом произошло движение, и генерал не слушал его.

Австрияк-пулеметчик неожиданно встал с земли и заговорил быстро и вызывающе. У него было фиолетовое меняющееся лицо. Похмелье плена через одиннадцать часов после пленения ударило ему в голову. Благосклонный взгляд генерала в сторону чехов возбудил его. Он кивал на них головой, он отмежевывался от них, он давал понять, что он совершенно другой человек. Он показывал на свою нашивку, расставлял руки, точно держался за ручки пулемета, и кричал, что, если б не случайный заскок ленты, он бы показал этой сволочи, как сдаваться в плен. Окончив свой монолог, он снова лег на спину, задрал ногу на ногу и в первый момент даже заиграл ботинком, но затем колени его опустились, он сжался, присмирел. Похмелье кончилось.

— Я понял все, что он говорил, — сказал генерал, наблюдая его с снисходительной улыбкой. — Это бравый солдат. Сейчас он несчастен. Прапорщик, предложите ему папиросу...

2

Между штабом дивизии и окопами прапорщикам полагался небольшой антракт в полковом обозе. Прапорщик Цебрик имел в виду затянуть этот антракт до пределов приличия, пока не погонят:

— Хочу напоследок завести шмоньку с докторами. Курва буду, если их не обставлю.

Он фыркал и хорохорился. Он был кур и уже сидел во щах, он сам понимал это, но еще донашивал озорную шкуру, которую надел три недели назад, в тот день, когда его произвели в прапоры и выдали конверт с Р. 250 подъемных.

— Откуда вы знаете, что там есть доктора? — спросил Криппе. Его заинтересовало, почему он, Криппе, ничего не знает об обозах и докторах, а вот Цебрик, который тоже не был на фронте, уже имеет понятие.

— В каждом обозе, — поучительно сказал Цебрик, — есть поп и два доктора. Кроме карт им не черта делать. Особенно теперь: ведь мы отступаем и бросаем раненых...

— А зачем вам деньги? Предположим, вы выиграете. Но не все ли равно, как помирать: с деньгами или без денег?

— С деньгами шикарнее, — разъяснил Цебрик и посмотрел на него как на скучного человека. — Не знаю, как вы, а я хочу умереть как следует, чтобы обо мне помнили. Иной прапор отдал подъемные жене на улучшение питания грудных детей, а сам с десяткой честно проследовал на фронт. Я не таков. Я все до рубля ухлопал, где надо. Я себе назначил такую программку, что если я вам ее расскажу, так вы может быть не захотите со мной итти...

— Я не такой строгий, — сказал Криппе. — Скажите вашу программку.

— Программка моя в двух частях. Часть первая: сорок баб, сорок фляг, сорок радужных бумаг. Эту часть я выполнял в Варшаве. Часть вторая: начадить, накостить, исхамить все на свете, хлопнуть дверью, сдохнуть. Эту часть я буду выполнять здесь...

Он начал как конферансье, но, излагая программу, воодушевился. Он выкрикивал ее как лозунги. Он был свеж и могуч, как и три недели назад, в свой первый день.

— И как, — спросил Криппе, — удалась первая часть?

Цебрик заерзал, сморщил нос, фыркнул влево, фыркнул вправо и не стал врать:

— Большой недобор. Не было времени. Если играешь в карты, то уж тут не до баб. Если начнешь пить, то нельзя играть в карты... Кроме того в самом начале один день ушел на женитьбу... — И добавил задушевно: —

Вот если б дали еще денька четыре посидеть в Варшаве...

— Я не был в Варшаве, — сказал Криппе, которому вдруг стало жаль, что он не был в Варшаве. — Я ехал через Брест-Литовск...

— И это видно, что вы не были в Варшаве...

Проститутка в Варшаве посмотрела на коричневое цебриково тело, придвинула для сравнения свой розовый оплывший бок и сказала задумчиво:

— Черная раса — белая раса...

— Черная раса? — восхитился Цебрик, присасываясь к женщине. — Я белый! Я белее тебя!

Он был и польщен и обижен. Польщен тем, что его загар приняли за природный арабский цвет. Обижен — потому что женщина в самом деле возразила, что перед ней дикарь. Еще две недели назад он был белокож. Он загорел в самое последнее время в маршевом батальоне, где, наскучив смотреть, как ратники выкидывают штык, он на целые дни смывался с занятий, переплывал Нарев и лежал на другом берегу, пока хватало папирос. Папиросы, пускаясь через реку, он клал на голову под фуражку. Гнев начальства не беспокоил его, потому что он все равно ехал на фронт.

Женщина была с ним нежна. За год войны она научилась различать тыловиков, привычно наслаждавшихся и скупо плативших, и таких вот дурашливых парнишек, которые ехали в окопы и наполеглок торопились добрать свое. Она привыкла к их бредовым вспышкам, к тоскливому упорству их любви, когда человек, уже сытый, снова и снова спохватывается, словно боится упустить последний шанс.

Смуглая кожа Цебрика развлекала ее. Она гладила ее руками, спрашивала вкрадчиво:

— Пан есть калмык?

— Я калмык! — соглашался Цебрик разнеженно. — Люби меня.

И вдруг вскакивал, смотрел на часы. Может быть он напрасно теряет время? Может быть где-нибудь рядом играют в карты, пьют вино? А ему завтра ехать с эшелоном, и он ничего не успеет сделать. Недобор мучил его. Чего он достиг?—он играл в карты, но выиграл не сорок радужных бумаг, а только сто восемь рублей, вина ему досталась одна бутылка, купленная из-под полы. На женщин совершенно не оставалось времени. Женщина, у которой он находился, была всего лишь третьей.

Он ехал на войну, но в хлопотах так и не успел подумать: что же такое война? В школе прапорщиков он слышал от кого-то таинственный рассказ о старинной офицерской игре, которая называлась кукушкой: в темной комнате один человек бегал по стенке и орал кукушкой, а другой стрелял в него на голос, — попал или не попал, — а потом бегал другой и стрелял тот, кто был кукушкой, и тоже: попал или не попал. Кукушка произвела на него впечатление, и пока что он подставлял ее в свое понятие о войне. Вся война представлялась ему как одна всеобщая кукушка: какие-то люди бегали, другие в них стреляли, а потом бегали эти и стреляли те... Зачем? для чего? — у него не было времени подумать об этом.

Он лежал на пуховиках голый, потный, гладил свое тело, фыркал беспокойно:

— Я калмык!..

И снова вскакивал, хватал гитару, пел с отчаянным лицом:

В любви твоей, в твоих безумных ласках
Хотел я горе позабыть свое,
Любить тебя, как любят только в сказках...

Он заснул на рассвете, вконец измучив и себя и женщину. Все утро солнечные лучи играли на

его коричневой коже, но он ничего не замечал, он лежал без дыханья, как труп.

Забегая вперед, скажем, что немецкий врач, который одиннадцать дней спустя втыкал ему в грудь шприц с противотифозной жидкостью, также отметил прекрасный цвет его кожи и подумал:

«Повидимому, номад...»

Спрашивать подробнее не стал. Это было бы бесполезно, даже через переводчика. Дело происходило в прифронтовом карантине для русских пленных, в отделении для тихих помешанных. Два человека держали Цебрика под руки. Цебрик не фыркал и не суетился. Он только поглядывал на всех с удивлением и как-то сбоку. Поскольку на нем были офицерские погоны, с ним канителились специально.

— Значит, недобор? — спросил Криппе.

— По всей линии, — кротко подтвердил Цебрик. — И уж теперь его ничем не покроешь. Вина нет, женщины разбежались, шмонька — моя последняя надежда.

— Если говорить между товарищами, — сказал он потом, и Криппе заметил в нем нерешительность и некоторый конфуз, — то вчера в Глуске я сделал попытку дополнить Варшаву. Чорт знает что получилось...

Он не очень хотел рассказывать, что именно получилось из его попытки, но, начав, не выдержал, и Криппе услышал путаный рассказ о погоне за женщинами, которые исчезли из прифронтового городка, о немолодой польке, которая из человеколюбия согласилась пустить его на свое ложе, и о кровати, которая обрушилась, лишь только он захотел воспользоваться позволением. В конце было упоминание о том, как можно перепугаться после такого случая и сколько кварталов можно пробежать, пока немного придешь в себя.

Криппе нашел происшествие забавным и захохотал. Его удивило только, что именно для этого забавного случая у юмориста Цебрика нехватало юмора. Он го-

ворил с запинками, с умолчаниями, с суеверным страхом.
— Вы говорили, — вспомнил Криппе, — что перед отъездом женились. Как вы женились: с разрешения?
— Без.
— А как вы достали метрику?
— Выцыганил у писаря за три рубля, с возвратом через час. Девочка очень меня просила. И я тоже думал: надо хоть раз в жизни сделать доброе дело: меня убьют — ей пенсия.

Он полез в карман за бумажником.
— Вот ее портретик. Рожица милая, и зовут ее Милочкой. А главное — очень все было нетрудно: мне пальцем пошевелить, а для нее спасение.
— У меня, — сказал Криппе, разглядывая портретик, — было предложение в этом же роде. Но я подумал: стоит ли? Даны два дня для выезда из Петрограда, а тут мотайся за метриками, по церквам...

У Милочки лицо было милое, но пустоватое. Он сравнил ее с той, ради которой он не захотел пошевелить пальцем. Та была совсем в другом роде: истасканная, очень измученная, очень живучая...
— Девочка погуливала, — сказал Цебрик, пряча портретик. — Могла совсем закатиться. Мне ее стало жаль. Я ее знаю с детства.
— Девочка погуливала? — переспросил Криппе. — Удивительно, как все совпадает. И моя девочка тоже погуливала...

Вернее: кончила гулять, заразилась, выбыла из строя, уползла в норку, в угол на кухоньку, на Обводный канал. Там жила на гроши, замазывая мазью сыпь на лице. Но именно там у ней появились книжки, программа народного университета, даже таблица логарифмов, с которой она мучилась, не зная начатков алгебры. Криппе, вызванный письмом с просьбой о трех рублях, побывал у нее и убедился, что она все-таки осиливает логарифмы и что в этом деле замешан какой-то ее то-

варищ по группе. Она влюблена в этого товарища, а он ставит о ней на группе вопрос: «Зачем ходят сюда проститутки?» Когда она рассказывала об этом, ее измызганное лицо сделалось красивым, и за логарифмы она схватилась как за орудие борьбы.

Трех рублей он ей не дал, потому что был солдатом и сам ничего не имел, но в день производства он ей завез двадцать пять рублей. Он сидел с чувством доброго человека (на самом деле он был в прибыли: сделав доброе дело, он решил не платить никаких долгов своим знакомым) и очень удивился и даже обиделся, когда от него потребовали доброты немного больше, чем на двадцать пять рублей.

— Женись на мне! — попросила она. — Тебе все равно. Тебя убьют, мне останется пенсия...

Он не сразу понял, подумал, посмотрел на ее фиолетовое, испачканное мазью лицо, вспомнил о двух последних днях, которые должны будут пропасть из-за нее, и возмутился:

«Девочка потеряла перспективу».

— Такие браки бывают, — сказал он уклончиво, — но это делается не так просто. Заранее запасают документы, сговариваются со священником. Теперь уже поздно. Документы отправлены в батальон.

Но она не верила ему, она видела только, что он не хочет, и доказывала грустно и монотонно:

— Как ты не понимаешь: тебя убьют, тебе все равно...

Он молчал. Возражать было нечего. Можно было только курить, пускать дым, смотреть мимо глаз, по возможности улыбаться. И чем чаще она повторяла ему, что его убьют, тем веселее он смотрел на нее.

Наконец ему надоело. Он встал.

— Совсем не требуется так часто повторять, что меня убьют...

На лестнице он еще раз удивился, пожал плечами:

«Ей богу, девочка потеряла перспективу...»

Над деревней показался аэроплан, повидимому немецкий, потому что около него сейчас же стали появляться разрывы. Криппе и Цебрик застыли на месте. Поскольку аэроплан был над головой, обоим стало нудно. И тут Цебрик допустил вольность: он вдруг засунул руку под шинель Криппе и пощупал его сердце:

— А ну: бьется сердчишко?

И так как сердчишко действительно билось, Криппе рассердился и резко отодвинулся.

— Без фамильярностей, прапорщик. А то нарветесь на тютю.

— Чего вы сердитесь? — не понял Цебрик. — Я сам не люблю немецких аэропланов. Я только хотел проверить: один я струсил или и вы тоже?

Он снова был простодушен, но дружба, которая началась у них по дороге, после этого эпизода ослабла. Криппе не мог забыть его красного лица и остреньких плотоядных глаз в тот момент, когда он щупал его сердце.

— Мы пришли, — сказал Криппе, жалея, что дорога кончилась. Кругом были хаты, коновязи, повозки, тюки — все бесцветное, зеленоватое, правильно расставленное. Среди повозок, около денежного ящика и палки с чехлом стоял часовой.

— Рекомендую, — фыркнул Цебрик: — наши седые знамена...

Он вскоре исчез. После справок, в одной из хат действительно были обнаружены поп и два доктора, которые играли в карты. Цебрик ввалился к ним с гоготом. Эта тесная компания, перевидавшая сотни прапоров, которые с гоготом и без гогота вваливались к ним, а потом навсегда исчезали, встретила его сдержанно.

Цебрик победил их чистосердечием. Он сказал почти с мольбою:

— Разрешите сыграть перед смертью...

И был допущен в игру — сначала в преферанс. Он решил претерпеть эту многочасовую канитель, чтобы подождать народ и в свое время перевести их на шмоньку...

3

Полковое знамя имело глубоко обозный вид. Криппе знал, что романтика знамен в окопной войне похерена, но все-таки не ожидал такой скудости. Он сидел среди повозок, смотрел на знамя. Он отдыхал, размышлял, но в сущности отсиживался, отдаляя момент явки к полковнику. Тема для размышлений: что такое знамя? Что такое знамя в действии? Какие знамена он вообще видел в своей жизни?

Красное знамя. Криппе впервые увидел его в ноябре 1904 г. на задворках Финляндской дороги, у пакгауза, откуда отправляют гробы с покойниками на Успенское кладбище. Несколько десятков студентов и курсисток пришли проводить товарища, повесившегося в Крестах. Когда вагон с телом отошел, они спели похоронный марш, а потом пошли со знаменем по мостовой с направлением на Литейный мост.

Знамя было в середине толпы. Его несла маленькая веснущатая курсистка. Было видно, что право нести знамя досталось ей после борьбы. Всю дорогу она строптиво оглядывалась на подругу, которая тоже протягивала руку к древку и что-то обиженно говорила. Криппе не слышал их слов, но видел, что они обе покраснели до слез. Их спор о праве нести знамя был в то же время спором о праве быть избитой в первую очередь, поскольку навстречу уже двигались конные полицейские.

Лошади у полиции были прекрасно вымуштрованы. Они приближались цирковым шагом, по пять шагов, разом застывали, разом трогали дальше. Когда они подъ-

ехали совсем близко, девушка от напряжения стала такой красной, что уже нельзя было различить веснушек на ее лице.

Возможно, уходя на демонстрацию, она оставила записку для матери: «Милая мама, не сердись, что меня убили, так было надо». Многие девушки писали тогда такие записки. На Невском незадолго перед этим были крупные избиения студентов, и записки имели смысл.

На этот раз записка не пригодилась. Пристав оглядел демонстрацию, отъехал к боку и надрывным, измученным голосом прокричал:

— Господа студенты, что же это такое? Уж если устраивать демонстрации, так настоящие. А вы посмотрите: сколько вас — раз, два, и обчелся. Я могу вас всех сцепить и отправить в участок. Сколько хлопот и нам и вам. Кому это нужно, господа студенты?

Он посмотрел на Криппе, который после изгнания из гимназии еще донашивал пальто со светлыми пуговицами, и сказал:

— И уж совсем не дело водить с собой учеников средних учебных заведений. Идите на уроки, молодой человек.

Получалась затяжная, ничуть не геройская история, которая могла кончиться только ненужными арестами. Мужская рука через плечо Криппе протянулась к знамени и сорвала полотнище, которое сейчас же пошло по рукам и исчезло в чьем-то кармане. Девушка осталась с одним древком. Его надо было бросить на землю, но она как-то не решалась бросить вещь, за которую только что так цепко держалась, и та же рука пригнула древко и оттянула его к себе. Криппе на тротуаре посмотрел, куда пошла девушка, но ее уже не нашел. Полиция стояла неподвижно.

Белое и малиновое. Из всех знамен, промелькнувших в октябре пятого года на Невском проспекте, пожалуй, самым шикарным было огромное знамя белое с малиновым. Оно выплывало издалека, оно блистало

шитьем, оно забивало импровизированные красные знамена, когда человек привязывает за углы обыкновенный красный платок к обыкновенной палке. Казалось, только оно одно существует, но не многие знали, что оно обозначает.

— Что это за знамя? — спросил Криппе у соседей.

Двое ближайших соседей не могли ответить. Третий, студент, сказал:

— Это наше знамя.

Он говорил нехотя, он словно просил не мешать ему смотреть навстречу белому и малиновому.

— Чье: ваше?

— Польского королевства.

Криппе был непонятлив.

— Разве есть такое польское королевство?

— Его нет, но оно было, и оно будет. Это то самое польское королевство, которое вы, русские, называете Привислинским краем...

Студент словно встал на дыбы. И это было неожиданно. Он говорил по-русски без акцента, учился в русском университете, готовился служить русскому правительству. И вот все его мысли перевернулись от того, что он узидал белое и малиновое.

Рваное знамя. Рваное знамя принадлежало какому-то из гвардейских петербургских полков. Криппе увидел его, попав однажды к Зимнему дворцу в момент смены караула. Картина была внушительная. Гвардейцы подошли стеной, музыка флейт и барабанов звучала эшафотом, рваное полковое знамя было свидетелем бородинского боя.

Потом знамя отделилось, его понесли в среднюю дверь по отлогому каретному взъезду. Знаменщик и ассистенты шли, не мигая. Офицер плыл, бледный, закинув голову, и, хотя он не доводил руку до козырька, она держалась в воздухе, как окаменелая. На мгновенье он скользнул глазами по зрителям: внизу у колонн стоял Криппе и еще двое, в шапках, с руками в карманах. Мгновенное бешенство появилось в его гла-

зах. Рука, застывшая в воздухе, чуть опустилась: не перестрелять ли на месте шпаков, которые не снимают шапок перед его знаменем? Но через секунду рука приняла прежнее положение: стрелять не полагается, стрелять глупо, этим ничего не докажешь. Кроме того лица у шпаков скорее почтительные, а в шапках они потому, что штатские люди не обязаны снимать шапок при виде знамени. Знамя исчезает в дверях. Шпаки, очень заинтересованные церемонией, некоторое время ждут продолжения, потом расходятся.

Розовое знамя. И еще одно знамя вспомнил Криппе, но это уже было условное знамя, принадлежность театра — розовый шарф, поднятый на вытянутых руках над головой танцовщицы. С этим шарфом Айседора Дункан исполняла военный марш Берлиоза. Неопределенная воинственность разливалась от этого розового шарфа, подчиняла зал. Война представлялась как женщина с жутким лицом и гордой поступью, но это все-таки была женщина. Люди с впалой грудью расправляли плечи, руки, никогда не державшие оружия, неуверенно шарили около пояса, примериваясь, справа или слева должна быть шпага. Им хотелось маршировать, куда-то итти с мужественным лицом, с гордой осанкой. Их воинственность дальше этого не шла, но все же давала реальный результат. Ее было недостаточно для того, чтобы зритель вдруг встал и записался добровольцем в армию, но вполне хватало на то, чтобы он вынул кошелек и пожертвовал рубль в пользу раненых.

Знамя N пехотного полка. Около этого знамени Криппе сидел сейчас. Оно выглядело уныло и, пожалуй, никакой Берлиоз, никакая Айседора Дункан не сумели бы оживить этот серый чехол на конце невысокой палки. Это было знамя отступления. Оно последним подвигалось вперед, когда полк наступал, оно первым отходило назад. Около него всегда стоял наготове возок, чтобы в любой момент погрузить ящик и знамя и мчать их дальше.

Фуражку, когда представляешься полковнику, надо держать в левой руке, околышем вверх, козырьком внутрь, чтобы большой палец приходился поверх кокарды. Между пальцем и кокардой должна лежать перчатка с правой руки, заранее снятая. Криппе, входя в блиндаж, позаботился, чтобы все было, как следует.

— Господин полковник! Прапорщик Криппе — представляюсь по случаю назначения во вверенный вам полк...

Полковник — за год войны десятый командир полка — заметно не кадровый: суетлив, ироничен, мысли скачут:

— Рад новому человеку. Но должен вас заранее предупредить: тут вам не турецкий фронт. Как ехали? Почему просвет на погонах малиновый? Разве вы в стрелковой части? Впрочем, цвет не имеет значения. Угощайтесь.

Поставил на стол полупудовую жестянку монпансье. У Криппе ушла в жестянку вся рука, пока он до чего-то добрался.

— Гедеон, — засмеялся полковник, — водил израильтян к ручью воду пить. А я господ офицеров на монпансье испытываю. Я смотрю, как ты у меня конфетку возьмешь.

Лицо полковника в блиндажной полутьме неразборчиво, но по голосу Криппе уловил: не выдержал он гедеонова испытания, как-то по-другому ее надо было брать.

«Плевать...» — подумал он.

Пососали монпансье, помолчали, перешли к делу.

— Откуда?

— Из Петрограда.

— С маршевой ротой?

— Так точно.

— Герои?

— Так точно.

Криппе поддакивал, не думая худого. А полковнику вдруг не понравилось:
— Что вы мне там о героях? Какие там еще герои? Знаю я этих героев: их без палки с места не сдвинешь.
И засмеялся, заметив, что новичка такие слова шарашат.
— Бородачи? На баб похожи?
— Есть немного.
— Песни-то хоть петь умеют?
— Умеют.
— А какие песни?
— До Вильны пели «Чубариков» и что придется, а после Вильны перешли на духовное: «Отче наш», «Со святыми упокой»...
— Так, так, — усмехнулся полковник с понимающим видом. — По станциям перед образами свечки ставили?
— Ставили.
— Так и есть! — окончательно рассердился полковник. — Готовятся приять праведную кончину. На кой они мне чорт: умереть всякий сукин сын сумеет, ты сумей убить... Стрельбу проходили?
— Не кончили.
Криппе думал, что полковнику это никак не может понравиться, но как раз к этому он отнесся слегка.
— Не кончили и не надо. К чему стрельба, когда нет патронов? Патронов-то ведь нет.
Подчеркнул и прищурился на Криппе, словно спрашивал: «Как это тебе, молодой человек, понравится? Ты думал, они есть, а их нету»...
Странный тон, даже злорадный, Криппе не знал, как ему понимать такой тон. «На фронте, — подумал он, — могут себе позволить»...
— Конечно, — сказал он уклончиво, — теперь уже не секрет, что апрель и май были для нас неудачны. Но ведь сейчас дела поворачиваются к лучшему?
— Как же, — фыркнул полковник. — Поворачиваются они. Держи карман. Суворовские времена вернулись:

на штыке выезжаем — ни снарядов, ни патронов, ни даже укропу...

На укропе опять сделал нажим и посмотрел на Криппе: понял ли он, в чем дело. Криппе понял, но не подал виду.

Орудийный аккомпанемент у полковника несравненно гуще, чем в дивизии. Блиндаж под откосом, однако постукивало почти в дверь. Окопные разрывы доходили к полковнику мелким дверным дребезгом. При разрывах вблизи дверь рвалась с петель. В таких случаях полковник замерзал на полуслове, смотрел в землю и был похож на человека, который мысленно считает до десяти. Затем он говорил какую-нибудь фразу не в счет:

— Да-с, это вам не турецкий фронт!..

Или, с оглядкой на потолочные балки:

— Одна надежда: умными людьми строено...

И продолжал разговор с той же интонации, на которой остановился. Криппе, как новичок, не понимал разницы в разрывах, светил отраженным светом: замерзал вместе с полковником и вместе с ним пробуждался.

— Евреи разлагают армию, — сказал полковник после одного из своих пробуждений. — Вся эта нация мыслит шпионски. Я их понимаю: на кой им чорт наше русское государство? Им у Вильгельма лучше. Ладно, иди в плен сам, — туда тебе и дорога, — но не тащи за собой русских...

— А разве тащат?

— Конечно. Наш русский солдат сам и не догадается, что есть какой-то плен... — Полковник пошевелил бумаги на столе. — Этим делом уже заинтересовались. Есть приказ: подвести итоги за первый год войны. Сколько человек прошло через полк — какой процент евреев, сколько человек за этот же период пропало без вести — какой процент евреев? Когда мы этот процент подсчитаем, мы ударим по этой публике, как следует...

— К сожалению, — продолжал он, — точных цифр тут

не может быть. Если мы отступаем, мы можем подсчитать только то, что осталось от полка, а все остальное, — живое и мертвое, — уже за чертой, у немцев. Тут собственно немцы должны бы вести статистику...

— В газетах, — сказал Криппе, — я читал о евреях, другие отзывы. Пишут, что это такие же солдаты, как и все. Так же воюют и так же получают георгиев.

— Мало ли что пишут в газетах! — рассердился полковник. — В газетах пишут, что наши солдаты все сплошь чудо-богатыри, а я уже вам говорил: я с этими чудо-богатырями без палки не разговариваю. В газетах пишут, что Вильгельм дурак, а наши полководцы все семи пядей. На самом же деле: Вильгельм умница, а, например, Ренненкампф — дурак. Хорошо еще, что мы не в его армии...

К Ренненкампфу у полковника была неприязнь еще со времен японской войны. О Ренненкампфе он завел довольно длинный рассказ. Как этот генерал однажды мыл руки во дворе над тазом вдали от битв, как мимо штаба пролетел шальной снаряд и как генерал вдруг объявил себя раненым, перевязал правую руку, поехал в отпуск и всюду выступал как герой. Когда правая рука уставала висеть, он подвязывал левую — поди проверь генерала.

— Вы лучше скажите, что пишут в газетах про общую ситуацию? Мы тут видим только свой кусочек, какие-нибудь четыре версты. Мы на фронте, но ничего не знаем о фронте. А там как раз происходят события: новые державы вступают в войну, падают крепости, тонут корабли... Подсчитано ли уже, сколько народу погибло на «Лузитании»? Как реагирует Англия на подводную войну? Как она вообще раскачивается?

Криппе не мог рассказать ничего особенного. О «Лузитании» он запомнил только, что на этом пароходе погиб автор пьесы «Поташ и Перламутр» (в Петрограде в кафе видел его портрет в английском журнале), а об Англии и о том, как она раскачивается, ему очень

захотелось повторить одну игривую фразу, изобретенную в Петрограде, повидимому, недавно...

В самый день отъезда он встретил на улице Геймана, бывшего друга.

— Едешь колотить немцев? — спросил Гейман, оглядев его походную форму.

— Еду колотить немцев, — ответил Криппе твердо. Против Геймана, который был с ним ироничен, он защищался тем, что повторял его же фразы, но придавал им дубовый смысл.

— А похоже, что немцы тебя поколотят?

— Пусть немцы меня колотят.

— Хочешь быть солдатом разбитой армии?

— Хочу быть солдатом разбитой армии.

— Будешь отступать до Урала?

— Буду отступать до Урала.

— А потом назад?

— Назад.

— До последнего солдата?

— До самого последнего.

— Значит, ты считаешь, что в конце концов ты побьешь Германию?

— Побью. Потому что Германии не выстоять против всего света.

— Значит, ты надеешься не на себя, а на Англию?

— Я надеюсь и на себя и на Англию...

— ...которая, — скороговоркой добавил Гейман, — тоже решила бороться до последнего русского солдата...

— Да, которая тоже... — повторил Криппе, но, заметив подвох, расхохотался. — Ты это сам придумал? — спросил он восхищенно.

— Нет. Где мне. Это все говорят...

Этой фразой можно было бы по гроб жизни осчастливить полковника, закисшего в своем блиндаже (он даже по нужде не выходил наружу), но этой же фразой можно было поставить себя в разряд шпионски мыслящих личностей. Криппе воздержался.

— Куда мне вас девать? — задумался полковник, когда зашла речь о назначении Криппе в роту. — Затрудняюсь пока решить. До вас прапорщик Добряков представлялся: борода, голос зычный, приказать может, — из сельских учителей, а солдаты те же дети, — я ему сполуслова: роту на законном основании. А вот затрудняюсь. Разглядел я вас: бритый, жиденький, из студентов. Там, где надо палкой по башке, вы будете извиняться: «Пожалуйста, мол, очень вас прошу — в атаку! Конечно, если это вас не затруднит...»

Криппе молчал, втайне довольный, что ему не дадут роты.

— Вам бы историю полка писать, — вспомнил вдруг полковник, — вот где вы были бы на месте. Но уже есть у меня два историографа, сидят в обозе...

И по поводу историографов допустил такую улыбку, что Криппе обиделся:

— Я, господин полковник, ехал на фронт не специально в обоз...

— Ладно, ладно, — засмеялся полковник. — Для вас же лучше, если вас не сразу в окопы гонят. Погуляйте пока. Найдите себе блиндажик. Посидите, подумайте...

5

В час ночи прапорщику Цебрику стало страшно выигрывать: так могло везти только перед смертью. Пачка трехрублевок, выигранная им, неожиданно обессмыслилась.

Он заметил, что один из партнеров, какой-то перевязанный до пределов офицер, пустил в игру протертую бумажку. В другое время он сделал бы замечание, но сейчас ему было не до этого. Все бумажки, и новенькие и рваненькие, тускнели на его глазах, превращались в дым, в детские переводные картинки. Он не знал, что с ними делать. Он стал рассеян, оставил очередной выигрыш на карте, а когда перевязанный партнер сле-

дующим ударом сгреб его себе, он тупо посмотрел на него. Проигрыш тоже не доставил ему удовольствия.

Он сбегал на двор, мельком посмотрел картину ночного фронта. По горизонту в разных местах горели деревни, подожженные снарядами. Пламя в темноте было чистым и ярким. Линия окопов вспыхивала ракетками. Он взглянул в ту сторону, где канонада, уже засыпающая, работала в темпе двух кузнечных молотов, и сказал, по привычке кому-то подмигивая:

— Работает кукушечка!..

Он схватился за голову, вздрогнул, побежал к партнерам. Он все еще был веселый кур, попавший во щи, но у этого кура перья сами собой начинали становиться дыбом.

Старший врач напевал мотив: «А счастье было так возможно, так близко»... Все знали, что это относится к его утренней неудаче, о которой он уже рассказывал всем достаточно. Во время его дежурства на перевязочном пункте мимо его левой ноги пролетел осколок гранаты и не задел ее. Это был небольшой осколок, совсем на излете. Если б он летел сантиметром левей, доктор был бы сейчас счастливейший человек: легкая рана, эвакуация, отпуск, боевые отличия, повышение по службе. Он больше бы не сидел по сараям в полковом обозе, он вернулся бы на фронт дивизионным врачом или еще выше. И все это не состоялось. Теперь когда еще дождешься другого осколочка, который бы так же грациозно подлетел к ноге. А пока будешь ждать, налетит другой осколочек и кокнет тебя в голову.

Поп был в явной зависимости от докторов из-за спирта. Его припев во время игры касался спирта. Он напоминал, что пора уже выписать ему спирт. Он выражал надежду, что, конечно, доктора выпишут ему спирт. Он дерзко требовал: когда же, наконец, ему выпишут спирт?

Он был не поп, а попик: маленький, сероволосый, в серой рясе. У него было два лица: страдальческое,

пока он молчал, и собачье, когда он говорил. Голос имел тихий, но мог и рычать.
— Насчет спирта, батя, — канителил его младший врач, — есть предписание: выписывать вам спирт, только когда вы работаете...
— Я работал, — зудил поп. — Я ходил в резерв, служил молебен, проповедь говорил...
— Слышал я ваш молебен, — подзуживал старший. — Весь молебен казанской божьей матери вы отгрохали в четыре с половиной минуты. Я по часам смотрел. А вашу проповедь я могу повторить целиком: «Вот что, ребята: седьмая рота покрыла себя позором. За это в будущей жизни им не будет царства небесного, а в этой жизни их семьям не дадут пособия. Так что имейте в виду». И чего вы торопились: ведь сегодня на резерв не упало ни одного снаряда?
— Повоюйте с мое, — отгрызался поп, — тогда и вы будете торопиться. Вы сколько времени в полку: кто месяц, кто три. А я с полком вторую войну ломаю. Вы для меня проходящие люди. Из того кадра, что выступил по первой мобилизации из Перми, сейчас во всем полку остались я да фельдфебель знаменного взвода. Всех повышибало. Должен притти мой черед? Должен. Должен я себя сохранять? Должен. А если я сегодня богородице не докадил, так солдат меня поймет: ему самому веселей в блиндаже сидеть, чем стоять снаружи...
— А каким это позором покрыла себя седьмая рота? — вдруг спросил Цебрик.
— А я почем знаю? Мне полковник сказал так говорить, я говорю.
— Но все-таки? — настаивал Цебрик. — Мне любопытно, что за позор?
— Обыкновенный... — вмешался старший врач, морщась. — Не стоит об этом...
Перевязанный офицер играл молча и не меняя выражения лица — бинты мешали ему. Он умел играть. Докторские трехрублевки, побывав у Цебрика, посте-

пенно скоплялись у него. «Насквозь изранен человек,— восхищался Цебрик, — а загибает не плохо»...

Четыре денщика по числу четырех владык стояли у дверей, готовые в любой момент переменить стаканы с чаем. Владыки распоряжались движением бровей, мыком и сипом. Денщики хотели спать, они оседали на ногах, им было скучно, но страх не угодить, страх быть отправленным в роту, т. е. в окопы, взбадривал их. Это были люди с установкой на то, чтобы оставаться в живых. Цебрик таких людей даже не понимал. «Вот чудаки, — думал он. — До последнего издыхания будут выносить горшки. И все равно сдохнут».

Владыки были неодинаковые. Младший врач, свежий человек, тяготился присутствием ненужных людей. Он заметил старшему в тоне вопроса:

— По-моему достаточно одного? Остальные пусть идут спать.

Старший, более привычный, ответил, не отрываясь от карт:

— Пусть служат. Они и так ни чорта не делают. Мой Сапежко совершенно развинтился. Почему сегодня мяса не достал?

В голосе были предостерегающие нотки, и Цебрик заметил, что один из четырех денщиков переменился в лице.

В три часа ночи Цебрик, освободившись от большей части выигрыша, почувствовал, что пришла пора хлопать дверью. Для начала он загоготал и рассказал партнерам историю своей самой последней женщины. Он ввел в рассказ вариант: женщина на этот раз была молодая, он украл ее из-под носа у коменданта города, который приехал за ней в экипаже. Эпизод с кроватью вызвал восторг. Перевязанный офицер так захохотал, что у него лопнул чирей на шее, — все его повязки прикрывали именно этот чирей. Денщики смеялись в кулак, — открыто участвовать в офицерском веселье они не имели права.

В три тридцать Цебрик, спустив бессмысленным хо-

дом все последки, встал из-за стола, подошел к попу, подставил ладошки и наклонил голову:
— Благословите, батюшка.

Поп, не выпуская карт из левой руки, придержал ею рукав на правой, благословил, дал поцеловать руку и уже потом удивился:
— Что это вам приспичило?
— От не-хрен делать, батюшка, — кротко сказал Цебрик, поправляя перед уходом ремни и шашку. — Исключительно от не-хрен делать...

В первый момент ему стало жаль попа. Поп поглядел на Цебрика страдальческими глазами, убито опустил голову. Потом он встал, бросил карты и заговорил по-собачьи и кляузно:
— Богохульствуете, молодой человек? Оскорбляете религию в присутствии нижних чинов? Я на вас подам рапорт полковому командиру...

Старший врач, кусая губы, оглянулся на денщиков и показал, чтобы они вышли. Денщики выскочили и в сенях громыхнули хохотом.
— Это Сапежко смеялся? — прислушался поп. — До чего разврат. Это я тоже упомяну в рапорте.
— А копию пошлите в святейший синод, — ласково посоветовал Цебрик, возясь с полевой сумкой и биноклем.
— Вы легче, прапорщик, — вступился перевязанный офицер. — Первый день в полку, и уже такие штуки. За это, знаете, что бывает?
— Хуже плохого не бывает, господин поручик, — сказал Цебрик довольно миролюбиво, но поскольку в его руках был бинокль, он посмотрел на поручика в бинокль. — Кстати, насчет чирьев, поручик. Поганая вещь — чирьи. Я думал, что хоть на фронте их не бывает, я думал, тут только раненые и контуженные, а оказывается, и тут они водятся.

Напоследок он перевел бинокль на докторов.
— Образованные люди! — сказал он, качая головой, как старый учитель. — Образованные люди! Стыдно смотреть, до чего вы довели своих холуев. Я всего пять

классов кончил, я вольнопер второго разряда, я офицером стал только благодаря войне, — про таких, как я, говорят: из грязи да в князи, — но я своего холуя буду не так держать, я ему не каждый день буду тыкать: служи, каналья, а то пойдешь в окопы...

Он отступал к дверям задом, точно ждал нападения. Хлопнуть дверью в буквальном смысле слова не пришлось, потому что дверь была сарайная. В дверях он еще раз покачал головой, крикнул: «Образованные люди», воздел руки и исчез.

— Это нам урок, — сказал старший врач, снова садясь за стол. — Вперед надо знать, кого принимаешь в компанию. Лезет всякое хамье, прикидывается простачком...

Цебрик тем временем шел, натыкаясь на повозки, ругался, спрашивал у часовых:

— Где тут команда связи? Дайте мне провожатого. Прапорщик Цебрик срочно идет представляться полковому командиру...

Особого наступления не предвиделось, но имелось в виду на участке шестой роты вернуть окопы по ту сторону майдана, брошенные третьего дня. На рассвете адъютант штаба дивизии явился на полковой наблюдательный пункт, чтобы руководить этим делом. Он залег над телефонной ямой и завел переговоры с дивизией и батареей. Он полагал, что артиллерия напрасно тратит снаряды на беспорядочную стрельбу. Он рекомендовал прекратить стрельбу, он хотел съэкономить 30 — 40 снарядов, чтобы в решительный момент сосредоточить огонь на майдане. Ему показалось даже, что артиллерия плохо пристрелялась и задевает наши собственные окопы.

Для проверки этого обстоятельства ему понадобился человек в офицерском чине, чтобы послать его в окопы, как наблюдателя. Полковник при этом случае вспомнил, что у него где-то есть прапорщик, — бритый,

жиденький, из студентов, — малопригодный для роли командира, но способный выполнять поручения. Криппе, отлеживавшийся в пустом блиндажике, был разыскан, потревожен за ногу и препровожден к адъютанту. Адъютант сказал:

— Ваша фамилия Криппе? Вам придется сходить в окопы.

Криппе посмотрел вперед и по-штатски заметил, что итти под снарядами очень трудно, можно не дойти, что вообще в окопы ходят ночью. Но адъютант, не возражая по существу, вежливо показал ему дорогу:

— Вот этим логом ближе всего. Вы еще успеете добежать, пока немцы пьют кофе.

Криппе быстро пошел, поглядывая на разрывы. Фразу насчет кофе он понял буквально, хотя это был только оборот речи для обозначения моментов, когда немецкая канонада почему-то снижала темп. Он не сразу нашел ход сообщения и некоторое время путался на поверхности около задней проволоки, но, поскольку немцы пили кофе, он остался жив.

Он спустился в ход сообщения, очень довольный тем, что остался жив. Он вошел в окоп свеженький, возбужденный, с улыбками и встретил красные лица и тупые глаза людей, измотанных многодневным бездельным сидением под немецким огнем. Немного удивленный, с чувством превосходства, он прошел в открытый окоп к разведчикам, которые могли бы сказать, куда падали снаряды, интересовавшие адъютанта. Он стоял в канаве, не сгибаясь, полагая, что так будет шикарнее. Его пугнули ружейным выстрелом, он пригнулся, потом присел, потом поторопился выбраться из канавы совсем и перейти в окоп, где были бруствер и потолок. Через полчаса от его первоначальной улыбки ничего не осталось, он был такой же больной, пучеглазый человек, как и все кругом, и никакие силы не выгнали бы его на ту самую поверхность, на которой он полчаса назад не торопясь обхаживал проволоку. И все

это произошло потому, что немцы кончили пить кофе и возобновили настоящую канонаду на убой и дребезг.

«Чтобы убить одного солдата, надо выпустить девяносто пудов чугуна и стали. Таковы итоги японской войны, когда общий вес всех выпущенных снарядов разделили на общее число убитых. Убивает солдата, собственно говоря, осколок в 100 — 200 граммов. Остальное идет на пристрелку, падает спереди, сзади окопа, ударяется о брустверт, распадается на тысячи кусков, производя лишь моральный эффект. Статистика германской войны еще не подведена, но есть основания думать, что, при теперешней легкости изготовления снарядов, металла на одного человека тратится во много раз больше».

Курсовой офицер приводил эту статистику и делал вывод:

— Запомните эту пропорцию и не думайте, что каждый снаряд для вас смертелен. Не бойтесь снарядов...

Курсовой офицер, сам не бывший на войне, делал лишь ту ошибку, что слишком мало места отводил моральному эффекту. В окопах он убедился бы, что ни один фунт из девяноста пудов не падает даром.

Чему вообще научил курсовой офицер будущих прапорщиков? Это был тип «офицера с разговором», не часто встречавшийся. Он избегал говорить о причинах и целях войны, — пусть этим занимаются дипломаты, но он учил слушателей прежде всего уважать военное звание, он прививал им претензию считать себя военными людьми: не будь козерогом, смотри людям в глаза, отдай честь, как следует, умей подчиняться, умей командовать, будь требователен, но справедлив, презирай писарей, иди в окопы. Он говорил и о плене. Он однажды помянул это слово, но

при этом вынул наган и показал, что стреляет себе в рот. На глазах у него были слезы.

Даже об отношении к женщинам он не забыл в своих наставлениях:

— Женщину военный человек берет не нахальством, но прямотой. Вот почему испокон веков женщины любят военных...

В остальном будущий ротный или полуротный командир три с половиной месяца ходил с песнями по улицам, прыгал через препятствия, выкидывал штык, учил устав (кто кого на сколько суток и каким арестом может посадить). Раза два ходили на стрельбу, раз ходили в примерный поход, выставляя охранение и цепочки, раз стреляли из наганов (некоторые, нажимая курок, закрывали глаза). Пулемет слушали только издали, пулемет не входил в курс (тетушка Криппе возмущалась: «Но ведь это же чорт знает что! Ведь это значит, что ты, захватив пулемет, не сумеешь повернуть его против врага»).

А если кто-нибудь во взводе задумывался, что все-таки этих знаний для будущего ротного командира маловато, то взводный из вольноперов, побывавших на войне, говорил:

— На войне все это ни к чему. На войне надо, чтобы котелок варил. Варит котелок, сам поймешь, что надо делать. Не варит — ни чорта из тебя не выйдет: только погибнешь и людей погубишь...

У Криппе котелок не варил. Котелок стал тесен, как западня. В окопах Криппе впервые обнаружил, что у него есть темя. Темя давало себя знать каждый раз, когда поблизости падал снаряд. Такой снаряд угадывался на лету. У Криппе захватывало дыхание, вся кровь уходила в голову, и несколько секунд он чувствовал неудобство от того, что мозг не помещался под теменем. Потом снаряд разрывался, дыхание выравнива-

лось, темя превращалось в обычный незаметный предмет.

Еще час назад Криппе думал, что раненого человека надо жалеть. Его удивляло, что жалости не получалось. Вот человек бросает винтовку, орет: «Я ранен», и если это только рука или нога, или какое-нибудь там бедро, то, кроме зависти, такой человек ничего не вызывает. Теперь его судьба ясна: он свернется где-нибудь у входа, ему не о чем думать, его дело ждать вечера, и если до вечера его не прихлопнет новым снарядом, его отнесут на перевязочный пункт. Он сам понимает, что по сравнению с другими у него есть шанс, что ему завидуют, и, словно оправдываясь, раскрывает рану и показывает:

— Я ранен. Ей богу, ранен...

И сам смотрит на кровь: а вдруг кровь пропала и никакой раны нет...

Вот человека убило и завалило землей. Он застыл в позе, будто лез в какую-то норку и уже наполовину влез.

При проходе в восьмую роту приходится шагать через него, задевать. Мысль при этом: как неудобно лежит человек.

«Обязан я его жалеть? — спрашивает себя Криппе, замечая, что мертвый тоже не вызывает в нем никаких чувств. — Ничуть не обязан. Пусть его жалеют зрители в кино, когда его покажут на экране, а мы с ним в равных условиях...»

Окопные разговоры сбивчивые, не на тему, вполслуха: чего не расслышали, о том не переспрашивают. Улыбки тяжелые, невпопад: раздвинется рот, нескоро его сожмешь.

Вот человек сидит у стенки, может быть пятый, может быть десятый день, и вдруг схватывается, шарит в мешке, вынимает фотографию, ставит на земляную приступу. Сам не смотрит, но пусть стоит рядом. Сосед наклоняется к фотографии, таращит глаза, как пья-

ный. Криппе идет мимо, тоже подходит. И человек как будто рад, что у него есть зрители.

На фотографии изображен он сам, его жена, двое детей. Жена у него хорошая, светловолосая, прическа башней с тремя гребнями: два боковых, средний с камешками на самом верху. От прически на молодом лице какая-то гордость. Сам он тоже в праздничной манишке, брови густые, глаза спокойные, но видать, что человек при случае может улыбнуться. На столике между супругами железнодорожная фуражка.

Сейчас только по бровям можно узнать, что это тот самый человек. Сейчас у него красное, беспокойное лицо, пустые глаза. Устал человек от канонады: еще немного, начнет рыть ямку в стене, прятать голову. И фотографию выставил, может быть, как последнюю защиту.

Надо бы посмотреть на фотографию и отойти. Но Криппе шевелит губами, ищет слов, а человек ждет, и получается мучительно для обоих, так что человек уже машет рукой — отойди. А Криппе в ответ улыбается и сам чувствует, что улыбка эта не подходящая, что за такую улыбку надо гнать вон. Разъехалось лицо, хоть руками его поправляй.

Что это за улыбка? Он сам хочет определить ее смысл: есть в ней, должно быть, кое-какое народолюбие, кое-какая спесь, чуть-чуть фатализма, чуть-чуть пафоса соборной смерти — остатки разных чувств, пришедших из литературы и вдруг испарившихся, и вот в трудную минуту человек остался пустым, с одной лишь разъехавшейся улыбкой.

Криппе сует руку в карман. В кармане лежит что-то. чего он туда не клал. Это занимает его на некоторое время. Он разжимает руку: на ладони комок глины. Он долго держит ее на ладони, не в силах понять, как глина попала в карман.

— Набило снарядами, — объясняет немолодой рыжий солдат, тот самый, который вместе с ним разглядывал

фотографию. Он смотрит на Криппе внимательно и без всякого дружелюбия.

Криппе бросает глину, идет дальше.

Во всей роте среди затихших людей только один человек безумствовал у бойницы, с усилиями, с бормотней скрипел затвором, палил неведомо куда, орал:

— Это вам не турецкий фронт!

Выбрасывал гильзу, снова скрипел. Затвор был заеден песком, мог получиться взрыв, но человек словно не замечал.

Криппе увидел косые ремни, прапорщицкий погон, смуглую щеку. Заглянул сбоку: не Цебрик ли? Нет, не Цебрик. Поскорее отвернулся, чтобы не знакомиться. Но прапорщик уже увидел подобного себе, бросил винтовку, стал обыкновенным человеком.

— Нет ничего хуже, как сидеть без дела, — сказал он, улыбаясь. — Хочется хоть что-нибудь делать. Вас назначили в восьмую роту?

— Нет, — ответил Криппе с приятным сознанием, что он не имеет отношения ни к каким ротам, — я прислан для наблюдений за артиллерийской стрельбой.

— А я здесь полуротным. И, пожалуй, придется быть ротным. Ведь Добрякова укокало начисто.

«Борода, — вспомнил Криппе, — голос зычный, приказать может. Из сельских учителей, а солдаты — те же дети»...

— Только один день и командовал. А как командовал: сидел вот тут, сопел и курил. Я подбирался к его папиросам — не давал. И никому не давал. Я уже думал, у этого добряка не закуришь. И вдруг приходит момент, встает наш Добряков, улыбается и начинает раздавать папиросы всем желающим. Роздал все, подарил портсигар, пошел за нуждой в ход сообщения, там его сразу же на собственной куче... Как это человек знал, что пора раздавать папиросы? Чувство, что ли, такое?

Криппе молчал.

— Вы посидите тут, — вдруг спохватился прапор-

щик. — А я все-таки сбегаю к батальонному. Надо выяснить, кто я такой: ротный или полуротный?

Он зашагал прочь. Солдат с крестьянским бородатым лицом поднял голову и сказал жалобно:

— Прапорщик убежал... Ребята, прапорщик убежал...

— А дурак он с нами сидеть, — сказал рыжий. — У батальонного в блиндаже балки в четыре ряда. Из такого блиндажа можно воевать...

— Не скулите, — недовольно отозвался солдат с небритым еврейским лицом. — Нашли, о чем скулить.

— Прапорщик никуда не убежал, — сказал Криппе сердито, потому что хуже всего было делать вид, что ничего не слышал. — Он пошел по делу и сейчас вернется.

И вдруг, заметив на гимнастерке еврея университетский значок, пригляделся к его лицу и сказал без удивления:

— Как будто знакомы?

— Как будто... — неохотно согласился еврей.

Университетский коридор был пуст. Полицейский офицер и наряд городовых стояли наготове у проректорской. Десятка два студентов сидели на подоконниках, наблюдая, как после звонка по коридору начиналось шествие профессоров. Профессора, выполняя обязанность, доходили до дверей в пустые аудитории и возвращались назад. Некоторые аудитории были не совсем пусты, и тогда кто-нибудь из студентов вставал с подоконника, шел навстречу профессору и говорил, что хотя кое-какие слушатели у него есть, но студенты просят его вернуться и не срывать забастовки. Профессор, морщась, недовольный своей полуштрейкбрехерской ролью, поворачивался и уходил.

Потом на середке коридора появился студент. Он посмотрел в сторону городовых, вынул стеклянную банку, щелкнул по стеклу карандашом, сделал трещину, покатил банку к городовым, а сам исчез в боковой двери.

К этой двери побежал через коридор один

из городовых, на цыпочках, стесняясь начищенного паркета. Другие городовые спешно открывали окна. Хлор и слезоточивый газ были предусмотрены полицией, и замазка из окон была вынута заблаговременно. Все же газ подействовал. Криппе видел, как рыдал полицейский офицер, поднося к глазам платок, а городовые закрывали лица рукавами шинелей. Городовой, посланный вдогонку за студентом, вернулся ни с чем. Он стоял за дверью, выжидая момента, когда будет удобно явиться к приставу.

— Ваш полковник — хам,—сказал бывший студент без всяких вступлений. — Какое-то желание обязательно унизить человека. Когда мы шли на подкрепление, он выскочил из блиндажа с палкой, ругался. Меня спросил: кто я такой. Я сказал: «Юрист». — «То-то у тебя рожа кулака просит». Именно потому что я еврей и у меня университетский значок. Чувствуй, мол: вот мы тебя загнали в окопы, и уж тут ничего не поделаешь. Хам!..

Криппе поморщился. Громкий разговор о полковнике в таком тоне его не устраивал.

— Моя фамилия Буссель, — продолжал студент. — Это на тот случай, если вы вздумаете донести обо мне полковнику.

— Бросьте, коллега, — сказал Криппе недовольно. — Вас загнали в окоп по-хамски, меня более вежливо, — но суть дела одна и та же...

— А разве вас загнали? Вы не доброволец?

Сильный разрыв остановил разговор. Головы пригнулись. Криппе схватился за темя. Никогда еще он не чувствовал такой тесноты под черепом.

Бородатый плаксивый солдат, который всполошился, когда прапорщик ушел из окопа, посмотрел в бойницу и подбежал к Криппе:

— Ваше благородие — химия! Посмотрите, какой дым...

Криппе посмотрел. Дым был розовый, цвета облаков

на закате. Возможно, что это и был химический снаряд, но Криппе все равно не знал, что надо делать в таких случаях. Он знал, что есть какие-то бинты, которые рекомендовалось смачивать водой из фляжек и держать у носа. Сам он бинта не имел.

— Что же, ваше благородие, так и погибать? — лез на него плаксивый солдат. — Так и погибать?

— А что ты думал? — вдруг заорал Криппе, рассвирепев от собственного бессилия.— Так и погибнешь.

Солдат попятился от него, не отрывая взгляда. Щеки его тряслись. Криппе сам испугался впечатления, какое произвела на него его уверенность.

— Мы, — сказал он уже другим тоном, — на войну не гулять приехали. Тут все может быть.

Но солдат, как обиженный ребенок, уже не смотрел на него.

— Зачем напрасно пугать людей? — недовольно заметил Буссель. — Никакой химии нет. Был один сомнительный снаряд, да и то весь дым отнесло в сторону. Ветер параллельно окопам. Смотрите, куда гнутся кусты.

«Не варит у меня котелок! — с отчаянием подумал Криппе. — Ведь то же самое я мог бы и без него увидеть, а не увидел...»

Он почувствовал себя лишним в окопе, встал и, словно спрашивая разрешения, сказал:

— Ну, я пойду.

Плаксивый солдат встрепенулся:

— Смотрите, ребята. И еще прапорщик хочет бежать...

Он вскочил и, оглядываясь на других, загородил Криппе дорогу, но, когда Криппе пихнул его в грудь, он отлетел, словно сам отпрыгнул.

— Никуда я не бегу, — заорал Криппе, — а иду по своим делам. И вообще я не в вашей роте. Я прислан в окоп наблюдать артиллерийскую стрельбу, чорт вас возьми совсем...

Телефон находился в блиндаже у батальонного, и стоило раз побывать в этом блиндаже, чтобы потом тянуться туда неудержимо: там стукало куда тише. Из такого блиндажа действительно можно было воевать. В первый раз Криппе, доложив полковнику о попаданиях, заговорил о положении вообще:

— Потолки в седьмой роте провалены, у входов пробка раненых, деревня перед шестой ротой горит...

И вдруг заметил, что из темноты к телефону пододвинулся какой-то поручик и остановился с недружелюбным видом. Пока Криппе говорил, он не вмешивался, но потом обрушился на него со всем пылом:

— Зачем вы это ему говорили?

— Потому что это правда...

— Вы ни чорта не понимаете! Он—болван, он никогда не был в окопах. Что бы вы ему ни говорили, он ответит одно: держитесь до последнего... Ему больше нечего отвечать. Что он вам сейчас ответил?

— Он сказал: держитесь до последнего.

— Вот видите, — захохотал поручик и посмотрел на телефон, дергаясь лицом, точно это был сам полковник. — Вчера немцы были почти в окопе, а от него из-за тридевяти земель гениальный совет: «Так помните, поручик: пуля—дура, штык...»

Он передразнил полковницкую манеру и поперхнулся от отвращения.

— А в это время у самого подвода уже уложена, чтобы лететь по первому звуку...

— Никогда не говорите правды, — сказал он потом, сообщая Криппе основное правило поведения. — Им правда не нужна. Что бы ни случилось, отвечайте: «Так точно, держимся»...

Убеждал его в этом с тоской, задушевно, с огнем в глазах, совершенно не понимая: как можно говорить правду. Почти приказывал:

— Пока вы в моем батальоне...

И Криппе понял тогда, почему полковник избегал вызывать поручика к телефону, а узнавал новости стороной, от случайных посланных, вроде него самого.

Немного позже Криппе стал свидетелем, как поручик применял свой метод на деле. Шестая рота, в которой стояли пулеметы, бросила окопы, ушла, а за ротой потащились и пулеметчики. Ушла и связь. Поручик ничего не знал об этом, так же как сидящий в подвале не может знать о пожаре на чердаке. Полковник узнал о происшествии раньше, ибо рота пошла мимо его штаба, там он исколотил передних палкой по головам и завернул роту назад, а потом вызвал батальонного к телефону для объяснения. И вот, несмотря на то, что все было ясно и очевидно, поручик отрицал самый факт:

— Никак нет, господин полковник. Все на местах. Держимся. . .

Что хрипел в телефон полковник, Криппе не слышал, но видел, что лицо у поручика дергалось. Немного погодя виновато шмыгнула в блиндаж вернувшаяся связь — молодой белесый солдат. Пулеметный унтер-офицер с кадровым достоинством сел на приступку. Начались оправдания: они думали, что есть приказ об отступлении и вообще, раз рота ушла, им тоже оставалось только итти.

Поручик, к удивлению Криппе, не петушился и не матерился. Он качал головой, с укором смотрел на пулеметчика:

— Как же это ты, Сахарков?

Особенно было неприятно, что дело коснулось пулеметов, которых в батальоне было две штуки, а за всякие истории с пулеметами грели больше, чем за какие угодно потери людьми. Пулеметы вывели поручика из равновесия, и он даже наговорил лишнего.

— Что такое наш батальон? — сказал он, когда пулеметчик ушел. — Это я, его командир, и вот этот человек. Остальное не в счет. . .

— То есть как: остальное не в счет? — удивился Криппе.

— Остальное приложится: сегодня один, завтра другие. Теперешний солдат что собой представляет: технически — неуч, морально — баран. Немцы не дают нам времени подготовить его. Он годится только на то, чтобы отсидеть сколько-нибудь дней в окопах, а потом—или туда или сюда... Мы их сыплем как в прорву. Командный состав не лучше, и его роль такая же: отсиди свое и катись...

— Вот вы, например, — перешел он персонально к Криппе, — представляете собой очень небольшую загадку. Предположим, вам дадут полуроту. Некоторое время вы будете сидеть в окопе и терпеть огонь. Это еще полбеды. Но наступит день, когда наш приснобла-женный генерал решит, что на участке такой-то роты нам необходимо вернуть такие-то окопы. Вполне возможно, что окопы эти нам совсем не нужны, а просто генералу нужно симулировать какую-то деятельность, пустить пыль в глаза и немцам и своему корпусному командиру. Пресвятой генерал даст позывные идиоту-полковнику. Идиот-полковник скажет: слушаюсь — и передвинет всю музыку батальонному. (Это я сам. Предоставляю вам определить, кто я такой: кретин, дегенерат или кто еще.) Батальонный пошлет записку балде-ротному. Но дело в том, что балда-ротный тоже не самый глупый: у него есть пешки-полуротные. Одним словом, в атаку придется итти вам. Вы заорете. Предположим, вам удастся выгнать ратников за проволоку, но тут они собьются в кучу, на вас прыснут из пулемета. Тут вы и останетесь.

— Мерси, — сказал Криппе скорее весело, чем сердито.

Ему уже казалось: чем глупее, тем лучше. Получалась какая-то система: рука у козырька, изо рта — вранье. И так снизу до верху: всюду рука, козырек, вранье. Например, батальонный, что он собственно делает: сидит, врет по телефону, философствует, ничего не знает о своем батальоне. И он прав. Единственное,

что сейчас можно делать: сидеть, врать, философствовать, ничего не знать.

Был момент, когда батальонный проснулся к деятельности — это, когда пришла связь и сказала, что австрияки пошли в атаку, а в восьмой роте выкинут белый платок. Поручик встал, застегнулся, подергал бороденку, поправил кобур, улыбнулся фатально. Он словно говорил:

«Сейчас я буду жестоким».

Он пошел к выходу, постоял у порога, вернулся, заходил по блиндажу. Вбежала связь с новым донесением: австрияки шли и не дошли. Дело с платком кончилось ничем.

— Интересно, кто выкидывал, — спросил поручик, снова садясь и расстегиваясь: — еврей? русский?

— Должно быть, русский,—задумалась связь. — Там евреев нет...

Криппе обратил внимание: кокарда у батальонного была солдатская. Почему? Спрашивать у самого батальонного не стал, но показал на нее прапору, у которого прикуривал. Прапор сказал:

— Знаю. Эта кокарда мне вчера боком стала. Она у него вроде амулета. Вчера ночью мы вместе ходили в штаб. Всего дела — перебежать бугор, там действительно от пуль тесно, а дальше уже идет низом. И вот как раз на этом бугре с него снесло шапку ветром. И вот он начал ее искать. Я ему говорю: господин поручик, да ну ее совсем, эту шапку, тут этих шапок до чорта. «Нет,—говорит,—надо эту шапку найти. Без этой шапки я не человек». Мотался по бугру, пока не нашел. И мне тоже было неловко уходить. Ползаю и ругаюсь. Но было приятно узнать, что наш батальонный не трус. Очень не трус...

8

— Самое странное, — сказал Буссель, — что мы даже не хотим задумываться: зачем мы здесь? Вот вы, например, можете ответить на этот вопрос?

— Не стоит об этом, — поморщился Криппе, точно ему задавали нудную работу. — В окопах поздно рассуждать: к чему и для чего...

Он хотел лежать на шинели под стенкой окопа, рядом с хорошим человеком, слушать ночную ружейную стрельбу (все пули — шальные), смотреть, как бегает по стенкам свет от вспыхивающих ракеток. Тело, напуганное за день, буйно отдыхало. Люди были сонные, лежащие. В темноте казалось, что все они убиты.

— Я о себе не говорю, — продолжал Буссель. — Я еврей. Я не могу быть ни офицером, ни унтер-офицером. Меня притащили сюда на аркане. Но меня интересует, как вы попали в окопы?

— Меня, если хотите, можно считать добровольцем, — сказал Криппе. — В первые дни войны я действительно подал заявление, но оно пролежало пять месяцев без движения, я забыл о нем, передумал ехать на войну, и только тогда пришла повестка. Я не стал откручиваться. Я даже обрадовался. Мне надоело читать газеты, осточертели федоровские корреспонденции. Уж лучше испытать самому. Пошел прощаться с товарищами и почти со всеми переругался. Есть у меня приятель Гейман. Он мне сказал: «Дурак ты чортов! Тут вопрос идет о разделе рынков. Зачем ты лезешь в это дело?» От него кстати я впервые услышал о рынках, ни в какой печати об этом не было ни звука. Я говорю: «Плевал я на рынки. Важно, что сейчас там восемь миллионов людей. Восемь миллионов не могут ошибаться». — «Ошибаться могут сколько угодно миллионов. И, если желаешь знать, все эти восемь миллионов погибнут и явятся всего лишь удобрением для будущей революции». — «Отлично. Значит, и я являюсь удобрением для революции. Не возражаю». — «Зачем же быть удобрением для революции, когда можно самому ее делать?» — «Делай, если тебе интересно, а мне интересно быть удобрением». Откровенно говоря, мне не понравилось слово: делать. Что значит: делать революцию? Революции не делаются, а происходят. Очень жалко будет выглядеть

революция, если ее сделает такой теленок, как Гейман. Вот, если восемь миллионов лягут в фундамент, тогда уже будет серьезно.

«Пошел к другому товарищу, а он тем временем стал полезным человеком. Он призывной, но пошел по госпитальной части — заведует поставкой градусников. Он мне сам предложил: «Я тебя устрою в госпиталь. Будешь как в бесте». Я говорю: «Не хочу быть как в бесте». — «Значит, тебе нравится лезть в пекло?» — «Мне это не нравится, но я полезу в пекло, чтобы чем-нибудь отличиться от такой публики, которая сидит в тылу и спекулирует градусниками...» — «Ты, говорит, дурак, ты бормочешь неведомо что». — «А ты — умник. И это действительно умно: при всех случаях жизни садиться в бест. Но чорт тебя дери с твоим умом»...

«Уже из школы, немного натаскавшись, зашел я к товарищам на Васильевский. Там их целая артель. Сидят, зубрят: один историю римского права, другой — догму, третий — полицейское право. Воздух кислый, глотки перекурённые, разговоры об одном: что сдаешь? когда сдаешь? у кого сдаешь? Я уже перестал понимать такую жизнь. Меня встретили иронически: «Здравствуй, барабанная шкура». Я им сказал: «Бросьте вы это штатское пренебрежение к военным. Оно ни на чем не основано. Вы не умнее их, но они сейчас в тысячу раз нужнее вас. Когда в Михайловском манеже в первый раз построили на ученье призванных студентов и фельдфебель, видя, что они ничего не понимают, крикнул: «Тут вам не университет, тут надо головой работать!» — весь строй расхохотался самым искренним образом. Но эти же самые студенты даже после двух месяцев обучения не могли построить роту или пустить ее справа по отделениям. Рота, двигавшаяся по их команде, упиралась в стену, превращалась в хаос. Потому что тут действительно надо было работать головой».

«Они смеются: «Однако тебя уже заразили...» — «Да, — говорю, — заразили. И не плохо, если б и вы немного заразились. Что вы собой сейчас представ-

ляете: комнатные люди, недоученная слякоть, у вас вогнутые плечи, мутный взгляд, — я подозреваю вас в онанизме, — вы держитесь так, точно всегда у вас под мышкой градусник. Вы наверное даже не знаете, как пахнет земля. Когда в батальоне вас будут учить перебежками и вам придется прижиматься лицом к земле, вы может быть впервые в жизни услышите ее запах. И вы будете благодарны тому самому фельдфебелю, который гоняет вас по полю».

«Но тогда они говорят: «Чтобы итти в окопы убивать немцев, надо их ненавидеть. У нас нет этой ненависти». — «А у меня она есть? Это дикари ненавидят и съедают своих врагов. Мы врага уважаем. Мы воюем с противником, как играли бы с ним в футбол. Но, конечно, условия игры опаснее, и от победы зависит существование государства...»

«Одобрил меня только Козловский — горе-философ, но сказал подходяще: «Война, конечно, бессмысленна, но поскольку вся наша жизнь есть одна сплошная бессмыслица, то уж лучше выбирать бессмыслицу более яркую». Я с ним вполне согласился. Действительно, что у нас была за жизнь? Смысл-то в ней был? И какая разница: зубрить римское право или учиться выкидывать штык? Я по крайней мере в батальоне почувствовал, что у меня есть руки и ноги. Я до тех пор держал в руках только карандаш. Прямо приятно было, когда фельдфебель орал: «Равняйсь», и надо было выпячивать грудь...

— Ну, а сейчас, — спросил Буссель, — вы тоже предпочли бы выпячивать грудь? Или же римское право будет поинтереснее?

— Сейчас другой разговор, — замялся Криппе. — Сейчас я, пожалуй, взялся бы за римское право. Но сейчас уже поздно об этом говорить.

— Но все-таки вы убедились, что культура есть культура, а здешняя гнусь — это только гнусь. Вы убедились в этом?

— Почти.

— Вы хотели бы сейчас попасть в большой город, скажем, в Петроград, на Невский проспект?
— Конечно.
— К людям, которые не отравлены страхом смерти, живут обычными интересами, говорят нормальные вещи, веселятся, читают книги...
— На Невский? — вдруг переспросил Криппе, точно для него самого стало сомнительным, хотел ли бы он на эту улицу. — Почему именно на Невский?

Он осел, перестал поддакивать.

Странным образом Невский проспект ассоциировался у него с мотивом мачшиша. В двенадцатом году раскатывал по Невскому один автомобиль, принадлежавший купеческому сыну, и сирена автомобиля воспроизводила этот мотив полностью.

Этот дрыгающий мотив свирепствовал тогда по русским городам, исполнялся в мажоре и в миноре, был символом эпохи. Немногие знали, как он танцуется, но слова были известны всем:

Мачшиш — прелестный танец,
Пьянящий, жгучий,
Его привез испанец,
Брюнет могучий...

Купеческий сын придерживался Невского проспекта. Его не прельщало дивить мачшишем второстепенные улицы. Он пролетал по Невскому десятки раз в день. Он никогда не давал сирене выговориться до конца. Он выблевывал мотив по частям.

«Мачшиш — прелестный танец» — заводил он где-нибудь на углу Надеждинской и обрывал, но прохожий невольно навострял слух и ждал продолжения. Продолжение доносилось издали: «испанец» — с угла Литейного, «брюнет могучий» — с Фонтанки, а еще дальше, на Садовой, попав в

скопление экипажей, сирена обалдело басила припев:

Танцуй мачшиш!
Танцуй, танцуй мачшиш!

Купеческий сын развлекался — может быть даже — простодушно, не подозревая, что у многих его музыка сидит в мозгу, как напоминание о чьем-то торжестве, о блевотном мире, который устроен так прочно, что против него не пойдешь. Даже иному смирному человеку делалось не по себе от этой сирены. Смирный человек не ри-пался, стоял в стороне, признавал силу и вдруг видел, что сила-то она вот какая: кабацкая, гогочущая, ухмыляющаяся...

Купеческий сын кончил развлекаться вследствие одной случайности. Хоронили очень важное лицо. Купеческому сыну пришлось огибать процессию. Возможно, в этот момент он пожалел, что в его распоряжении не было печальных звуков, а возможно, что и не пожалел и из озорства задел грушу, и тогда рядом с покойником было проблеяно:

Танцуй мачшиш!
Танцуй, танцуй мачшиш!

Родственники обиделись. Купеческий сын был вызван для внушения. Сирена смолкла.

— Я не хотел бы на Невский проспект, — сказал Крипе. — Не знаю почему, но я всегда плохо себя чувствовал на этой улице, словно она была мне враждебна. Тупость какая-то нападала, недоумение. Я даже поставил себе задачу: жить в Петрограде, но как-нибудь эмансипироваться от трех вещей — от Невского проспекта, от папирос «Кадо» и от вечерней «Биржевки». Только никак не удавалось: всегда курил «Кадо», читал «Биржевку» и ходил по Невскому...

— Вот вы сейчас эмансипировались от всего этого, — засмеялся Буссель. — И как: веселее стало?

— Это еще как сказать? Может быть и веселее. Тут, по крайней мере, что-то чувствуешь...
— Вы не забывайте, — добавил Криппе, — что мы все-таки фронтовые люди. Мы отрезанные. Вернись мы домой, нас долго не будут понимать. Я это замечал еще в школе, по воскресеньям, когда брал увольнительную: знакомых много, а итти не к кому...
— А я думаю, я отлично вошел бы в прежнюю шкуру. Надел бы фрак, ходил бы по судам, постарался бы забыть все военное. В одном отношении я стал бы другим. Я иначе бы смотрел на природу. Этого бы я уже не забыл. На войне я научился понимать природу, — понимать — громко сказано, — но как-то ее замечать: что такое дерево, что такое трава, земля, камень? Тут получается какая-то острота, тут видишь самую душу дерева — какая у него душа: интересная, плоская, наивная... Недавно я видел дерево, которое было как клоун среди деревьев. И я его так и понял. Еще зимой, когда я только готовился к позициям, я обратил внимание на снег — как он идет. Это было наслаждение. Я не понимал, почему я не замечал этого раньше.
— Это оттого, что раньше у вас не было смерти за спиной.
— Может быть...

В окоп тенями вошло подкрепление. Люди с непривычки думали, что в окопе надо вести себя тихо. Осторожно брякали, осторожно размещались на пустых местах. А для начала останавливались у бойниц, заглядывали в сторону ракеток, и тогда при вспышках Криппе видел: козырек, скулы, расширенные глаза и в глазах огонек страха и любования.

9

Ночью, без команды, батальонный был человек как человек. Сидел у свечки, пил чай, потел, разглядывал фотографии. Когда вошел Криппе, он его приветствовал:

— Кстати пришли. Ночью разведчики лазили за проволоку, нашли немецкий ранец. Вы должны знать по-немецки. Переведите, что тут написано.

Фотография изображала могилку пирожком, выложенную камушками, политую известкой, с бордюрчиком по верхнему овалу и крестом, на котором по середине было крупная надпись: «Unserem russischen Kameraden», пониже более мелко: «Leutnant, Inf.-Reg. 190» и еще ниже: «Name unbekannt».

«Нашему русскому товарищу, — перевел Криппе, — лейтенанту 190-го пехотного полка, имя неизвестно».

— Предположим, — сказал батальонный, — что лейтенант — это поручик или подпоручик. Выходит, что какому-то убитому поручику нашего полка, брошенному в окопах, немцы выкопали могилу и поставили памятник?

— Выходит.

— Видать, что не хамский народ, — умилился поручик. — Они понимают, что офицера надо похоронить как следует. И надпись верная: офицер офицеру товарищ, точно так же, как и солдат солдату. Мы разных наций, мы воюем, но мы — товарищи...

Он умилялся еще некоторое время, но после раздумья переменил тон:

— Пожалуй, в штабе на эту фотографию посмотрят косо. Я ее посылать не буду, и вы о ней не распространяйтесь. Что из нее следует: смотрите, как немцы вежливо обращаются с убитыми. Должно быть, и с живыми не хуже. Короче говоря: сдавайтесь в плен...

Криппе засмеялся неожиданному обороту дела.

— Делать им не черта, — продолжал поручик, — оттого и памятники ставят. Ведь мы их ничем не беспокоим — какие-нибудь пятьдесят снарядов в день. Живут как на даче, жрут, коньяк получают, фотографией занимаются... У нас, например, кому сейчас придет в голову заниматься фотографией?

Он отложил фотографию в сторону, подумал еще и разорвал фотографию.

— Кстати, — вспомнил он, — насчет вас, прапорщик

Криппе, было устное распоряжение: вам оставаться в окопах для поручений. Был намек, что вчера вы были не на высоте, так что сегодня вам надо стараться.
— Не на высоте? — встрепенулся Криппе. — Я докладывал, что было надо. Чем я виноват, если не о чем докладывать?
— А как вы докладывали? Я слушал, меня злость брала. Вас спрашивают: какое положение на участке перед шестой ротой? Куда падают наши снаряды? Вы отвечаете: «Деревня перед шестой ротой горит, из-за дыма нельзя рассмотреть разрывы от наших снарядов». Отвечать таким образом, это значит самому напрашиваться на поручения, потому что вам обязательно скажут: если из шестой роты не видно, то пойдите в седьмую, восьмую, десятую и оттуда загляните, но дайте ответ. На это вы совсем по-шпаковски отвечаете: «Эге! туда не пройти (в мирное время вам показали бы, какие бывают «эге»), в седьмой роте провален потолок, засыпан ход, придется подниматься на поверхность». — «В таком случае пойдите в седьмую роту и узнайте, на каком расстоянии провален потолок». И так далее, и так далее. Вам же лишнее беспокойство. Надо отвечать: «Так точно. Снаряды падают, насколько можно из-за дыма рассмотреть, в нужном направлении и дают нужный эффект. Шестая рота в боевой готовности стоит у бойниц, ожидая соответственных распоряжений. Состояние духа удовлетворительное». Вот ему и нечем крыть. А самое главное: и ему спокойнее. Он передаст ваши слова в дивизию, а вам немного погодя выпишут клюкву за отлично исполненные поручения...

Первый рассветный снаряд клюнул где-то землю с остервенением мелкого, очень злого животного. Первый снаряд воспринимался как что-то невероятное, чего никак нельзя было ждать. На втором, на третьем удивление проходило: канонада с двух слов убеждала, что она есть и будет.
— Началось... — вздохнул кто-то из невидимого угла.
— Да-с, господа ротные и полуротные, — сказал пору-

чик: — началось. Прошу вернуться к исполнению обязанностей.

Прапорщики, которых по разным углам спало человек пять, встали, двинулись к выходу. Лица были серые, измятые. В движениях — оттяжка.

— Заглядывайте иногда в блиндаж, — напутствовал их поручик, — но не часто. Солдаты обращают внимание.

Криппе был обескуражен. Втайне он надеялся, что его позовут обратно в штаб. Он заляжет в блиндажик. Его забудут. У него будет отсрочка в два-три дня. А через три дня может быть полк пойдет на переформирование. И так далее.

Между тем день начался с окрика: не на высоте. Впереди были верных четырнадцать часов канонады, и батальонный уже посматривал в его сторону, готовя и для него фразу: прапорщик, вернитесь к исполнению обязанностей. Криппе встал, предупреждая эту фразу, вяло взял под козырек:

— В случае если меня потребуют к телефону, я буду в шестой роте.

Кокарда батальонного попалась ему на глаза. Он лишний раз вспомнил, что кокарда — солдатская. И вдруг, что-то вспомнив, он остановился, вынул кошелек и торопясь начал шарить в нем.

Полгода назад Криппе в Кузнечном переулке наткнулся на цыганку. Цыганка сказала:

— Хочешь знать, твоя голова будет-не-будет цела?

— А что мне голова? — сказал Криппе. — Что с ней может быть? Я не военный.

— Ай, не говори, — протянула цыганка очень предостерегающе, и, так как Криппе остановился, она уже сочла его своей добычей и потащила за локоть в сторону. И Криппе подчинился, потому что считал невежливым выдергивать свою руку силой. Когда он смирился совсем, она выставила руку косяком и прикоснулась к нему.

— Позолоти руку. Сколько не жаль: гривенник, двугривенник...

Криппе вынул из кармана наличность: три серебряных рубля и один пятиалтынный. Пятиалтынный положил на руку цыганке, а рубли спрятал обратно. Пятиалтынный исчез как в воздух, и цыганка начала бормотать что-то второстепенное, но так как она видела у Криппе рубли, то в дальнейшем ставка у ней была уже на эти рубли.

Побормотав немного, она сказала, что теперь переходит к главному, насчет головы, но для этого на руку нужно поставить три монеты, именно три серебряных монеты:

— Ты только поставь, — нужно, чтоб они стояли, а потом ты их получишь назад.

И так как она была высокой специалисткой по мелким вымогательствам и таких, как Криппе, видела сотнями, то рубли в конце концов были поставлены и исчезли так же волшебно, как и пятиалтынный.

Гадала она очень недолго, насчет головы не сказала Криппе ничего особенного, перекинула карты в руке, показала какого-то валета и сказала, что если этот валет его не убьет, то все будет хорошо. Затем собрала карты, — они тоже вдруг пропали, — и собралась уходить.

— А деньги? — спросил Криппе, очень обеспокоенный, потому что это были его последние деньги.

И тогда цыганка страшно удивилась. Она не стала говорить, что она не брала денег, но посмотрела на Криппе с таким пламенным негодованием, что тот отступил, поняв, что ему с ней будет не совладать.

— Какой стыд! — сказала она, оглядывая Криппе сверху донизу и всплескивая руками. — Такой господин! Такой господин — и вдруг: деньги назад... — Бывают совсем плохие люди,—зашептала

она, — ноги твоей не стоят, а дают по двадцать пять рублей. А ты — деньги назад... Такой господин!

Она раболепствовала и негодовала, но понемногу отступала назад, чтобы не прозевать момент, когда Криппе заорет дворника. Но он не орал, он только смотрел опечаленно, и, подождав, она снова шагнула к нему, ибо предпочитала кончать дела миром. Она протянула руку, разжала ладонь, и Криппе увидел, как на ладони возник один серебряный рубль.

Он взял его и повеселел, потому что не надеялся вернуть себе даже этот рубль. И, когда все кончилось хорошо, цыганка закурила сама и дала закурить ему. Она держала папиросу левой рукой, а правую уперла в свой пышный несвежий бок. Она пускала ему дым в лицо и усмехалась, позволяя ему любоваться собой. Потом она провела рукой по складкам у груди, еще раз протянула к нему руку и разжала ее, и Криппе увидел на ладони клубок серых корней, спутанный как отрезанное корневище чеснока.

— Вот тебе за простоту, — сказала она, отщипнув для Криппе корешок. — Храни. Пока хранишь, твоя голова будет цела.

Это был трюк для заключения всей сцены, чтобы оставить человека с раскрытым ртом и смыться окончательно, и так и надо было это понимать, но Криппе, оставшись с корешком, не выбросил его, но зажал в ладони. Корешок получил какое-то значение, хотя бы для того, чтобы потом посмеяться. Кроме того было бы странно выбрасывать вещь, за которую только что уплатил деньги. В кошельке была почтовая квитанция. Криппе вложил в нее корешок, скатал комком, засунул на самое дно за подкладку.

Криппе, торопясь, вытащил комок и растянул бумажку за концы. Корешок при этом мог приттись и

сверху и снизу бумажки. Он пришелся снизу и упал. Криппе нагнулся, зажег спичку. Под ногами была соломенная труха, мусор, нанесенный сапогами, еловые ветки, которые служили подстилкой. Каждый мелкий еловый сучок был совсем такой же, как корешок. Криппе зачерпнул горсть мусора и насчитал десяток сучков, которые все могли быть корешками.

Он бросил горсть на землю, встал с колен, усмехнулся поручику, который тоже нагнулся, следя за его поисками. Ничего не сказав, махнув рукой, он вышел из блиндажа.

Враг, живой враг, был невидим. При среднем зрении можно было заметить продвижение фигур вдоль фронта, особенно если фигуры тащили мешки с ротным продовольствием, которые были больше их самих. Шли эти люди гуляючи, повидимому, сытые и выспавшиеся, не сгибаясь, ибо были почти в безопасности. Из окопа в них постреливали, и случалось, что какая-нибудь фигура падала.

— Кувырнулся! — кричал в таких случаях стрелявший, не без удивления, что все-таки попал так далеко.

Понималось это всеми как ответ, очень слабенький, на канонаду с той стороны, и ничего, кроме удовольствия, такие случаи не доставляли. Но если фигура, полежав, вдруг подымалась и продолжала путь, то и против этого не возражали: уж лучше пусть живет.

Буссель и рыжий солдат не одобряли случайной стрельбы. Им казалось, что она даром раздражает немцев, которые могут усилить канонаду. В них говорило желание умилостивить канонаду. Им казалось, что не стоит сердить зверя уколами лапы, чтобы он не зарычал еще громче.

На самом деле зверь был не таким чувствительным. Он не обращал внимания на уколы в лапы и рычал машинным способом, работал беспристрастно, добрасывая за день вторую тысячу снарядов на участок роты, а за-

тем, когда нашел нужным, замолчал и, конечно, тоже не потому, что вдруг подобрел.

Молчание означало атаку. Но никто не думал об этом. Люди прежде всего обрадовались тишине и уже, увидев на той стороне движение, сообразили, что этого и надо было ждать, что за артиллерийской подготовкой должна следовать атака. В тишине голова прояснилась, появилось любопытство и такое чувство, точно в театре подняли наконец занавес.

Должно быть, немцы считали, что окоп подготовлен вдребезги, потому что людей в атаку пошла горсть. Это было ошибкой: в шестой роте все-таки стоял пулемет, и пулеметчик был на месте.

Немецкий солдат — серьезный солдат. Он не рисковой: не побежит за папиросой по открытому, в атаке — трудится, себя побеждает, дохнет от страху, а идет. Рядом с ним дисциплина шагает, ее почти глазами видишь. От каски контур мертвый, под каской — глаза остановившиеся, штык в руках ходит в стороны, дыхание от зашедшегося сердца у иного с собачьим присвистом, — картина сначала даже не страшная, а непонятная: из-за чего люди так мордуются? кого они так боятся?

Из окопа открыли стрельбу, — немцы падали. В сорока шагах их взяли под пулемет: остались на ногах пятеро. Они продолжали итти, как шли, потому что бежать назад было еще бессмысленнее. Еще ближе, от пули сбоку, свалился пятый. Он был виден довольно ясно: с сединой в усах, с сизым лицом. Вероятно, у него было пробито позади глаз: прежде чем грохнуться, он, как только что ослепший, протянул вперед руку, в страхе, не решаясь сойти с места, позвал товарища:

— Камерад! Либер камерад!..

Но уже никого не было рядом, за единственного камрада оставалась винтовка, и с тем большей силой прижав ее к груди, всхлипнув, он упал.

Последних четырех оставили в живых. У проволоки, по знаку из окопа, они бросили винтовки и гуськом

вошли в проход. В окопе сели рядом, отдышались, пропотели. Поту с них сошло много: от остановки с хода, но главное — от радости. Радости не могли скрыть. Раньше других отошел самый немолодой, который скоро уже улыбался, хоть и глядя мимо людей. Еще двое, более сдержанные, сидели, полузакрыв глаза, но в положении ресниц уже чувствовались мир и спокойный отдых. Четвертый, жиденький, с трехугольным лицом, двигал пыльными белками и только набирался мыслей. На них смотрели издали, чтобы дать им отойти. Страшный, нечеловеческий труд атаки, только что проделанный ими, внушал почтение. Все понимали, что радости им стыдиться нечего. Они свое сделали, они шли на верную смерть и виноваты лишь в том, что их не убили. И вот война для них кончилась, впереди — плен и, таксяк, жизнь...

В первые моменты даже не сообразили, что у немцев в походных фляжках — коньяк. Отходчивый немец сам напомнил об этом, пошарив у себя сбоку и протянув свою флягу тому, кто возьмет. Жест у него был: знаю вас, русских, любите выпить... Фляжку от него принял солдат с густыми бровями, который вчера выставлял фотографию.

Отходчивый дал фляжку сам, с остальных уже начали снимать. Пулеметчик сам фляг не отстегивал, за него работал белесый солдат, связь. Завладев флягой, пулеметчик понес ее батальонному. Фляга у трехугольного немца оказалась пустой. Он говорил: «Schade», смотрел напуганно.

Фляга с коньяком в руках бровастого солдата перевела людей на путь легкомыслия. Легкомыслие, заколоченное канонадой в самый низ души, вырвалось наружу. Стало казаться, что эта фляга — заключительный эпизод, на ней кончаются все атаки, вся война, после нее уже ничего не последует. И вот на несколько минут о немцах забыли, и центром внимания стал бровастый солдат.

Он сейчас был похож на свою фотографию. Озорная

улыбка, которая на портрете была в зародыше, сейчас заполняла глаза, шла через все лицо. Он как будто говорил: «Вы меня еще не видели, а я вот какой». Улыбка была с поправкой на окоп — немножко застылая, немножко больная, но и ее хватало, чтобы стать в окопе первым человеком: около такой улыбки и посидеть нескучно, и умрешь без надсады.

Бровастый умел проморить народ. Пока он взбалтывал флягу около уха, чтобы определить, много ли в ней осталось, пока взвешивал ее на руке, пока отвинчивал крышку, люди изошли томлением: А потом он еще начал принюхиваться сначала одной ноздрей, потом другой. На него и злились, и в то же время не могли оторвать от него взгляда.

— Длугач, — сказал плаксивый солдат. — Пей ради бога. Пей и о нас думай. Нас вона сколько...

Он показал рукой на себя и на ближайших соседей. Криппе, который стоял рядом, тоже попал под этот жест.

— Дели на четверых, — сказал Длугачу рыжий, который хотел определенности. Он посчитал компанию, тыкая пальцем. В его счет вошли: Длугач, он сам, плаксивый солдат и Буссель.

— А его благородию, — добавил он в сторону Криппе, — будет особо.

Криппе не претендовал на коньяк и не стал бы его пить, но выпад рыжего был ему неприятен. Это значит: опять делай вид, что ничего не слышишь, уходи. Он посмотрел на Длугача, который все с той же улыбкой подносил флягу ко рту, он еще раз оценил эту улыбку, и теперь ему показалось, что она совсем уж не такая широкая и целительная. Потому, что мало видеть чужую улыбку, но надо еще быть включенным в нее. Иначе от нее только обида.

Но Длугач готовил свое собственное решение вопроса. Он почти прикоснулся к фляге губами, зажмурил глаза, помотал головой и вдруг отвел руку, посмотрел

на рыжего, посмотрел на Криппе и протянул флягу Криппе:

— Нечего перед смертью зло разводить. Вместе погибаем? Какая разница? Начинай, ваше благородие.

«Что он — прощает меня, что ли?» — сердито подумал Криппе, но улыбка Длугача снова показалась ему пленительной. Он дубовато взял флягу, глотнул из нее и надолго закашлялся, чтобы скрыть смущение.

Рыжий негромко сказал:

— Они за двести рублей погибают, а мы даром. Вот и разница...

Но фляга перешла к нему. Он вздохнул, возвел глаза, глотнул, долго водил во рту языком, остался недоволен.

О немцах вспомнили, когда с флягой было покончено. Подсели к ним, пощупали сукно на мундирах, потрогали ранец, котелок. Вещи были добротные — мундир толстый, ранец покрытый мехом, котелок двойной, поместительный.

Заговорили об их будущем: что их ждет. Спросили: умеют ли пахать, косить, на лошадях возить? Показали в русскую сторону, куда их повезут. Сами в эту сторону с теплотой посмотрели:

— К нашим бабам, сволочи, едете...

Из немцев трое умели и пахать и косить, четвертый, трехугольный, показал, будто что-то крутит и наставляет рукой — какая-нибудь специальность. Обнадежили и его.

— Не робей, — сказал Длугач. — Найдется и тебе дело. Руссланд — гут! Пить — гут! Есть — гут! Бабы — гут! Всё — гут!

И вот уже немало минут прошло в разговорах, и немцы пришли в мечтательное настроение, и никто не потрудился подумать: почему не возобновляется канонада, — как вдруг новый поворот колеса: новая немецкая атака на тот же участок, но с силами раз в пять гуще.

Пришел в окоп батальонный: посмотрел на немцев

вдали, на четырех немцев рядом, отвел взгляд, задумался. Но так как на все размышления давалось три минуты, — атака велась стремительная, — он показал немцам итти в ход сообщения, назначил к ним провожатых, а затем подошел к пулеметчику и показал ему куда-то в сторону и взад. Пулеметчик с полуслова стал сворачиваться. Солдаты у бойниц, снова загипнотизированные зрелищем атаки, едва заметили его исчезновение.

— Прапорщик! — крикнул батальонный в сторону Криппе и в спешке поманил его пальцем, но, когда Криппе подошел, батальонный уже передумал и посмотрел на него как на пустое место:

— Нет, нет. Вас не надо.

Он был в волнении, дергал бороденку, бормотал:

— Экая пакость...

Последним вышел трехугольный немец и за ним плаксивый солдат. Плаксивый вышел по охоте. Была мысль, что они поведут немцев в штаб и, значит, окоп останется позади, а в этот момент сильнее, чем когда-нибудь, хотелось быть подальше от окопа.

Но поручик, стоя у выхода, пропустил мимо себя шествие, дал ему растянуться и негромко скомандовал:

— Стой! К ноге!

Команда, хоть и вразброд, была выполнена. Поручик набрал воздуху и крикнул:

— К бою готовьсь!

И эта команда была выполнена. Спины в серых мундирах стояли прямо, спины в шинелях изогнулись и застыли.

— Вперед коли, — взвизгнул поручик, — назад прикладом отбейсь!

Плаксивый сделал выпад. Штык его почти касался немца, и, чтобы не зацепить его, он отвел штык немного в сторону. Плаксивый не понимал, что колоть надо именно немца.

— Коли же, чорт! Не тяни! — в отчаянии крикнул поручик и схватился за кобуру.

Но тут четырехугольный оглянулся, плаксивый бро-

сил винтовку и проскочил мимо батальонного назад в окоп. Батальонный заорал, запутавшись рукой в кобуре, и все четыре немца повернули назад посеревшие, встревоженные лица.

Рыжий, который шел третьим, повернулся, чтобы бежать, но не добежал: дорогу загородил пулеметчик. Пулеметчик повернул ствол вдоль хода сообщения, пострекотал очень недолго и сейчас же вместе с поручиком, подхватив на руки пулемет, побежал через трупы немцев и русских прочь от окопа.

Криппе, дрожа, смотрел им вслед. Он щупал свой наган: то ли застрелиться, то ли в кого-то стрелять. Наган был для него как чужая вещь: он еще ни разу не стрелял из него. Когда сверху над ходами сообщения показались немецкие каски и немец, спрыгнув вниз, набежал на него со штыком, он не сопротивлялся. Он только сделал жест в сторону убитых немцев, точно говоря:

«Это не я. Ей богу, не я. Это вообще не мое дело. Я прислан в окопы следить за попаданиями артиллерии!..»

Немец со штыком не заметил этого жеста, он ничего не знал о четырех немцах, ему некогда было думать, потому что он задыхался от страха. Он мимоходом ткнул Криппе в грудь, выдернул штык и бросился к входу в окоп.

О чем, собственно, думал батальонный, когда стоял в ходе сообщения, смотрел в спины немцам и дергал рыжую бороденку? Немцев он приказал уничтожить, потому что не мог во время атаки оставлять в окопе четырех врагов,—это на случай, если рота примет бой. А пулемет отправил в тыл — на случай, если рота не примет боя, чтобы сохранить хоть пулемет и, конечно, себя, согласно теории, по которой ценность в батальоне представляли лишь его командир и пулемет, а батальоны приложатся.

Поручик не без основания не доверял роте. Рота, видевшая своего врага, говорившая с ним, была уже не та, что раньше. Четыре немца стояли перед глазами. За

их последний вопль еще надо было перед кем-то ответить, во всяком случае осмыслить его, но на это не оставалось времени. В решительный момент на лицах людей был страх, — и еще больше: задумчивость и удивление...

Рота оказала лишь случайное сопротивление. Окоп со всеми находящимися попал в плен. Кое-кого при этом убили, кое-кого оставили в живых. Люди погибали без разговоров, а те, кто целыми перешли бруствер, — в том числе Буссель, — вспотели.

Поручик в свое время явился к полковнику без батальона, но с пулеметом.

Порядок для таких дел известен: догоняют полковника на отступлении, выбирают момент, входят, рука у козырька, взгляд мимо глаз:

— Господин полковник, вверенный мне батальон перебит. Спаслись лишь я и двое из команды...

И после паузы, тоном более веселым:

— Пулемет удалось сохранить...

Полковник примет суровый вид, но втайне будет доволен:

— Костяк полка все-таки остался...

Полковник и поручик в основном понимали друг друга, и, когда недели через три поручик, разделываясь с очередным батальоном, не успел удрать и был отмечен пропавшим без вести, полковник пожалел, что лишился понятливого и опытного офицера.

Сам полковник также командовал недолго. На следующих позициях он попал в блиндаж, строенный не умными людьми, и погиб под обвалом. Приблизительно тогда же подошла очередь попу, который за две кампании отсчитался контузией и глухотой.

Буссель в плену попал на работу к крестьянам. Его привезли в деревню, когда сажали бурак, и хозяин дал ему работу: таскать вдоль борозд бурачную сеялку. Ходить надо было ни быстро, ни медленно, очень ровно. Хозяин шел сзади, смотрел, на каких расстояниях падают в землю шершавые бурачные шарики, и для правильности темпа запевал песню. Например:

Ach, wie schön sind die Kruppschen Kanonen!
Wir preisen ihr Leistung so hoch.
Sie kosten ja viele Millionen,
Aber gut, aber gut sind sie doch! [1]

Если Буссель сбивался с шага, хозяин кричал на него, но в общем они работали мирно, и Буссель в веселые минуты даже подпевал ему. Университетский значок он снял, слишком глупо было с этим значком изображать собою лошадь.

Буссель обратил внимание на одну странность. Он когда-то говорил, что война научила его по-новому понимать природу. Он работал теперь на земле, постоянно видел деревья, поля, снег, небеса. Это была та же природа, но он снова разучился понимать ее. Деревья были как деревья, одни более красивые, другие менее. Но никаких деревьев-клоунов он уже среди них не замечал.

В заключение о генерале, с которого начался рассказ. Он сохранился до конца войны, видел две революции, видел развал старой армии и организацию первых красных частей. В этот период он был не у дел и сотрудничал, как военный авторитет, в одной московской антисоветской газете. Приобрела известность одна из его статей, в которой он с пунктуальностью старого военного отмечал все недостатки молодых формирований: слабую дисциплину, разношерстность обмундирования, бюрократизм в управлении, отсутствие кадров, недостаточное снабжение и т. д. «И тем не менее, — писал он в конце статьи (и антисоветская газета должна была печатать это), — тот хаос, который мы сейчас видим в армии, совершенно отличен от хаоса периода развала старой армии. Там был хаос разложения, здесь — хаос созидания. На наших глазах возникает новый тип солдата, неведомый ранее, и т. д.».

Старикан все-таки имел глаз и кое до чего доглядел.

---

[1] «Как прекрасны крупповские пушки. Мы высоко ценим их работу. Правда, они стоят много миллионов, но зато они хорошие».

ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ

В июле 1914 года в газету начал просачиваться угар. Прежде других угорели гуманисты, народолюбцы, славянские натуры. Они еще не смели писать угарных статей, но уже перестали писать гуманно. Передовицы их собственного знаменитого вождя вызывали в них недоумение.

— Чудит папаша! Ведь уже ясно, что престиж России задет и из этого будут сделаны какие-то выводы. Все газеты давно пишут начистоту, и только у него клейстер: «Будущее, как мех Эола, чревато бурями, но было бы слишком позорно для нашего просвещенного века, если бы из-за аргументов самолюбия произошел европейский катаклизм»...

Впервые слова вождя цитировались нараспев, с иронией, как студенты имитируют устаревших профессоров.

— Он торгуется за каждый пункт австрийского ультиматума. Он хочет этим облегчить Сербии условия капитуляции. Но, во-первых, Сербия никогда не примет ультиматума целиком и инцидент все равно не будет локализован. А во-вторых: стоит ли поощрять ее к уступчивости? Будет гораздо лучше, если она покажет зубы...

В первые дни июля австро-сербские дела стояли в газете на втором плане. Основной материал был, как всегда, внутриполитический, оппозиционный, разоблачающий неконституционность правительства, произвол администрации, факты антисемитизма, шовинизма, зажима печати...

Вологодский губернатор Лопухин выслал из города торговца-еврея, потребовавшего с него де-

нег за взятый товар. В Петербурге в Апраксином рынке забастовали приказчики и предъявили экономические требования. Толпа приказчиков, вышедшая на улицу, была рассеяна полицией. В Баку бастующие рабочие массами выселяются из промысловых квартир. Мировой судья ежедневно сотнями подписывает печатные приговоры о выселении. В то же время полиция задерживает паспорта выселяемых, не прописывая их на частных квартирах. Забастовщики, оставшиеся с семьями на улице, вынуждены были на ночь забаррикадироваться в одном из домов. Полиция, желая проникнуть внутрь, вынуждена была применить оружие. В Минусинске исправник выслал из города трех сотрудников местной газеты. Газету стало некому писать. Газета закрылась.

Вся газета была заполнена подобными фактами. Газета подавала их в порядке информации, беспристрастно (рабочие были вынуждены забаррикадироваться, полиция была вынуждена применить оружие»). От читателя не требовалось никаких действий. Ежедневно сорок тысяч подписчиков за утренним кофе лишний раз убеждались, что они живут в неконституционной стране, в которой многое нужно реформировать. Отсюда для них был один вывод: года через два при ближайших выборах в государственную думу надо будет подать голос за кадетский список. Если кадетов в думе будет много, может быть они чего-нибудь и добьются.

Во главе газеты стояли два публициста с видными кадетскими именами. Сколько-то лет назад они поссорились, а в последние годы даже перестали разговаривать друг с другом. Газета от этого не страдала. Ночью оба редактора являлись на свои места и с молчаливым полупоклоном садились за корректуры. Каждый из них мог выправлять и выбрасывать любую из статей, поданных на стол. Исключение составляли их собственные статьи. Гессен, окисляясь, читал Милюкова. Милю-

ков с вежливым омерзением читал Гессена. Разница была та, что Милюков мог, но избегал править Гессена, Гессен не смел править Милюкова. Все делалось чинно, в европейских формах. Корректора, сидевшие ночью по соседству, только на второй, на третий год работы в газете замечали, что в отношениях главного начальства не все в порядке.

«Чуден Милюков при тихой и ясной погоде, когда вольно и плавно мчит он сквозь страницы «Речи» воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь, и не знаешь: идет или не идет его величавая ширина и т. д. Но, когда его заверстают, когда из его ответственной думской статьи выпадет ответственнейший абзац, когда тупые корректора перепутают Думера с Думергом, а Бриана с Бурианом, когда его подвальную балканскую статью они напечатают задом наперед, — страшен тогда Милюков» и т. д.

В первой части гоголевский текст совпадал с действительностью: профессор был умен и грациозен, но водянист. Вторая часть звучала неверно. Особенно страшен он не был, даже если в его статье последние абзацы шли раньше первых. Он заставлял в следующем номере перепечатать статью еще раз и сухо говорил:

— Надеюсь, на этот раз все будет в порядке. В конце концов, неужели так трудно отличить конец от начала?

Он с грустным удивлением смотрел на человека, который не мог отличить в его статьях конец от начала. Корректор, робея перед авторитетом, молчал, но втайне считал, что большой беды не произошло. Может быть, статья от перестановки только выиграла.

«Если б сделать анкету среди читателей, — думал он: — заметил ли кто-нибудь, что конец переставлен? Уверен, что никто ничего не заметил».

Австро-сербские дела на время исчезли из газеты. Сербия медлила с ответом. Австрия не торопила ее, дожидаясь, пока Германия закончит последние военные приготовления. В Петербург с визитом к царю приехал Раймонд Пуанкаре. На него ушли десятки столбцов. В эти же дни в газете появился новый отдел под безличным заголовком «В рабочих районах». Первоначально несколько мелких заметок: митинг на Франко-русском, тысяча участников, порядок дня — солидарность с бакинскими рабочими, балканские дела. Забастовка на Путиловском: двенадцать тысяч участников, стрельба в воздух, стрельба в людей, неизвестное число раненых. Потом пришлось разбить отдел по районам, развернуть на несколько столбцов. Общее число бастующих с двенадцати тысяч подскочило на сорок, девяносто пять, сто тридцать пять тысяч, не считая булочных и мелких предприятий, на двести тысяч по официальным сведениям. Половина трамвайных вагонов искалечена и выведена из строя. На Сампсоньевском, в Нарвском районе, за Невской заставой — баррикады. Из лагерей вызваны полки гвардейской кавалерии и расквартированы поближе к окраинам.

В девятьсот пятом году один кадетский публицист сидел в хорошем ресторане и поднимал в честь грядущей свободы бокал неплохого вина. В этот момент потух свет: электростанция присоединилась к всеобщей забастовке. Публицист описал этот момент в восторженной статье. Он верил, что, когда свет снова загорится, в стране уже будет конституция и в правительство будут приглашены лучшие люди страны, т. е. кадеты.

В 1914 году этот же публицист садился в такси и ехал обозревать бастующие районы. Восторга в нем не было. За эти годы он убедился, что правительство сидит крепко, что его не испугаешь забастовками и что рабочие вообще бастуют не для того, чтобы в правительстве сидели кадеты. Рабочие районы были для него экзотикой. Он посма-

тривал из автомобиля по сторонам, как любопытствующий скептический иностранец.

«На Путиловском у заводских калиток вывешены объявления о расчете и между прочим о закрытии кредита из заводских потребительских лавок.

У Сампсоньевского участка мне попалась группа: мирного вида городовой и несколько баб, по-видимому пришедших к арестованным мужьям.

— Сколько убитых? — спросил я, подъезжая.

— Восемь... — ответил городовой.

— Одиннадцать... — поправила баба. — Троих подобрали сами рабочие.

По фасаду Сампсониевской мануфактуры ни одного целого стекла.

— Кто выбил?

— Какая-то девушка. Совсем молодая. Пришла, набрала камней. Стала бить по-очереди. Выбила и ушла.

Что касается баррикад, то они в этих местах не представляют серьезного затруднения для полиции. Телеграфные столбы спилены акуратно, но они не загораживают всей дороги. Баррикады можно объехать. Местами это даже не баррикады, а баррикадки. Непонятно, почему не применяются для баррикад бетонные трубы, которые в большом количестве заготовлены для канализационных работ? Солидное сооружение попалось мне на Ланском шоссе: пять-шесть перевернутых телег, множество ящиков из-под пива, какие-то боченки...»

На этом месте путешествие обозревателя прервалось. Около солидного сооружения валялось много битых бутылок. Автомобиль порезал шины.

За Невскую заставу обозреватель уже не поехал.

Девятого, десятого и одиннадцатого газета не выходила, потому что наборщики присоединились к забастовке. Тем временем австро-сербские дела резко подскочили вверх, и, когда газета снова вышла, по Нев-

скому уже ходили первые патриотические манифестации. Они кричали: «Не позволим обижать Сербию! Долой Австрию!» Они не подозревали, что через несколько дней они с утроенной силой заорут: «Долой Германию!», а про Сербию забудут, и Австрия также будет им представляться как безобидная, почти дружественная держава.

Манифестации могли бы дать обозревателю новую тему для обозрений, но он уклонялся писать о манифестациях. Он боялся их. Впереди процессии какие-нибудь бородачи несли царский портрет, мальчишки с боков кричали: «Шапки долой!» В первый раз обозреватель попытался пройти стороной, не снимая шляпы. С него сбили шляпу. С тех пор, завидев манифестацию, он сворачивал в боковую улицу, а если некуда было свернуть, заходил в подворотню и делал вид, будто ищет фамилию на домовой доске. Он не любил царских портретов. Он не знал, что ему думать о войне, потому что он был пацифистом. Грубый окрик улицы возмущал его.

Встревоженный, анализируя свои чувства, озираясь, боковыми улицами он пробирался в редакцию. Он ждал, что там он найдет себе подобных и разберется с мыслями. Но манифестации не оставляли его и в редакции. Какие-то процессии останавливались под окнами и кричали бранные слова по адресу газеты, потому что папаша продолжал чудить и настаивать на капитуляции Сербии. Желтые газеты называли его предателем.

Днем редакцию заполняли репортеры. Все они пришли сюда окольными путями, по тому же способу уклонения от встреч с манифестациями. Они нащупывали друг друга насчет войны. Они бывали в канцеляриях, видели кое-какие приготовления.

— Папаша напрасно тянет канитель, — сказал репортер, специалист по Распутину. — Война все равно будет. Интересно только, сколько времени она продлится?

— Два месяца, — авторитетно разъяснил репортер, дававший хронику учебных заведений. — Самое боль-

шее — три. Я говорил с профессором Спасокукоцким. Он считает, что ни одна держава не выдержит больше трех месяцев.

— Какая вообще может быть война? — недоумевал третий. — Банки и биржи во всем мире так перепле-лись, что не могут существовать друг без друга. Почи-тайте газеты. Крошечный политический скандал в Па-риже отзывается паникой на биржах в Австралии и в Бразилии. Какая-нибудь госпожа Кайо дала по уху ка-кому-нибудь Кальметту, и вот уже акции руанского банка на нью-иоркской бирже скатились на десять пунктов Какой-нибудь фон-Геш за обедом в Кобленце брякнул спьяну: «Германия готова до последней пуго-вицы», и вот уже для аргентинских пароходовладельцев это повод, чтобы поднять фрахты на пшеницу. Если будет война, произойдет распад всех биржевых связей. Ценности станут на голову. Кто будет финансировать промышленность? Сможем ли мы хотя бы день про-жить без правильной финансовой конъюнктуры?

Этот сотрудник поставлял петитские заметки в от-дел банков и торговли. Он любил термин: финансовая конъюнктура, хотя в понимании этого термина пошел не дальше азов. Самое слово очаровывало его. Мир без «финансовой конъюнктуры» не умещался в его голове.

— По-моему, никакой войны не будет! — уверял он.— Будет демонстрация: державы сойдутся на границах, каждая покажет свой кулак; и этого будет достаточно, чтобы сейчас же начались мирные переговоры.

— Мордобой будет самый настоящий, — сказал специа-лист по Распутину. — Даже почище, чем в «Войне и мире». И сейчас не лишнее выяснить вопрос: при сколь-ких диоптриях не берут на военную службу? Кое-какая близорукость у меня, слава господу, есть...

— И насчет грыжи тоже надо бы узнать подробнее, — заметил литературный хроникер. — Небольшая двух-сторонняя грыжа сейчас капитал...

Сотрудник иностранного отдела, доцент универси-тета, брезгливо слушал репортерские разговоры.

— Тут дело идет о столкновении двух начал: германского и славянского, — сказал он с неудовольствием. — У вопроса есть тысячелетняя предъистория. А вы сводите дело к грыжам и диоптриям...

— Они думают только о собственной шкуре,— сердито вмешался усатенький репортер, поставлявший хронику происшествий. — Я смотрю не так. Пусть мне докажут, что надо итти защищать Сербию, и я пойду и не буду думать ни о каких грыжах. Пусть мне докажут...

— Вы особый человек, Иван Николаевич, — засмеялся хроникер. — У вас в душе есть славянские струны. А чего вы хотите от несчастного еврея, который даже правожительства в Петербурге не имеет. С липовым паспортом в кармане итти записываться добровольцем — не слишком ли любезно?

С улицы донесся свист. К свисту все — и славяне и не-славяне — прислушивались с одинаковыми серыми лицами. К окнам не подходили. Банковский хроникер первый покосился на дверь:

— В случае чего там есть черный ход в типографию...

Удирать не понадобилось. После свистков чей-то сильный голос за окном прокричал:

— Русские люди! Вот мой совет: пройдем молча мимо этой подлой редакции. И пусть наше молчание будет для нее знаком нашего глубокого презрения...

Специалист по Распутину повеселел.

— Пройдите молча...— бормотал он, не подымая головы и делая пассы в сторону улицы. — Именно: молча. Это все, что от вас требуется...

— Это третий раз за сегодняшний день, — сказал он литературному хроникеру, когда толпа ушла. — Сегодня они прошли молча, а завтра еще неизвестно, как пройдут. И все из-за папашиных передовиц...

Литхроникер наклонился к его уху и понизил голос:

— У Гессена в столе пачка телеграмм. Со всех сторон запросы: чем объясняется теперешняя позиция газеты? Говорят: Петрункевич — против,

Александров — решительно против. И еще десяток каких-то. Фамилий не знаю, но всё — тузы, дамы, валеты...

— Дальше валетов не пойдет, — засмеялся специалист по Распутину. — В кадетской колоде нет карт ниже валета.

— Если подсчитать голоса центрального комитета, папаша окажется в меньшинстве. Гессен может попросту не поставить его статьи в номер.

— Гессен сам не знает, куда ему тянуть...

К вечеру редакция опустела и часа через три наполнилась снова, но репортеры уже гудели на территории хроники, а в большой комнате в обычном порядке над корректурами сидели редактора.

Передовица Милюкова была все о том же: он анализировал только что полученный сербский ответ на австрийский ультиматум и с удовлетворением констатировал: Сербия капитулировала полностью. Отсюда он делал вывод: у России нет формальных поводов для вмешательства в конфликт. Конфликт локализован: Австрия не в праве требовать чего-нибудь еще, а Сербии уже нечего терять. Сербия прошла под ярмом. Капитуляция — совершившийся факт. И он призывал правительство сохранить всю трезвость и все самообладание при решении вопросов, которые решаются раз в столетие.

Гессен размечал карандашом порядок верстки. Карандаш в смятении прыгал по гранкам. Карандаш обходил передовицу. Карандаш хотел и не решался. Встретится ли еще когда-нибудь более удобный случай наступить на глотку председателю центрального комитета, свести счеты престижа с дорогим коллегой по каторжной тачке, которую они вдвоем катали уже столько лет?

Коллега молча смотрел на его руки. Он был спокоен. Он был готов в любой момент встать во весь рост:

«Не сметь! Я знаю, что я делаю...»

Но он видел, что этого не потребуется:

«У него астма. Он боится волнений. Он не пойдет на скандал...»

Он брезгливо наблюдал конвульсии карандаша, и когда наконец карандаш под его взглядом с мучениями опустился на передовую и вывел цифру, отвел глаза устало и недоброжелательно.

Но карандаш сдался не до конца. Он не выстоял против статьи в целом, но увивался теперь около отдельных фраз. Он еще раз пробежал вдоль всей статьи строчку за строчкой. Он ставил точки на полях, точно эти места были для него сомнительными. Он густо подчеркнул фразу: «Она прошла под ярмом».

Дорогой коллега шевельнул усом, вопросительно скосил глаза. Молчание уже не достигало цели. Предстоял разговор. Он ждал его с терпеливостью педагога, уверенного в своей способности укрощать строптивость.

Разговор произошел по способу обращения в пространство. Карандаш мог вести себя нахально, но голос должен был звучать исключительной ласковостью и нежнейшим уважением.

— Максим Ипполитович, — бархатно сказал Гессен, поворачиваясь в угол, где сидел третий редактор, неторопливый толстяк с одышкой и свиными глазками: — не кажется ли вам, что в передовой фраза насчет ярма звучит несколько тяжеловесно? В ней есть какое-то злорадство...

Толстяк засопел и не торопясь поискал по своему оттиску, о чем идет речь.

— Максим Ипполитович, — не дожидаясь его ответа, с обаятельнейшими интонациями, сказал Милюков, — я не вижу, чтобы в этой фразе было какое-нибудь злорадство. Она только уточняет факт. И я считаю, что она вполне на месте...

Толстяк продолжал сопеть, и после паузы снова, как вежливое эхо, отозвался Гессен:

— Я больше не настаиваю, Максим Ипполитович. Благодарствуйте...

Максим Ипполитович молчал до конца. Он понимал, что дело не в его мнении, что он был нужен лишь как фокус, в котором перекрещивались бархатные волны, выбрасываемые дорогими коллегами. Он кривил умные глазки:

«Как-никак, произошел какой-то обмен мнений. Было бы странно, если бы вопросы, которые решаются раз в столетие, решались в полном молчании...»

Собственное его мнение было:

«За это ярмо нам завтра перебьют стекла...»

В обычный час из типографии звонили, требуя верстку последних полос. Верстку уносили. Оставаться в редакции более не было надобности. Дорогие коллеги подымались, потягивались, прощались с Максимом Ипполитовичем и молча кланялись друг другу.

Днем, в обычное время, редакционный курьер пришел к Милюкову на квартиру, чтобы отнести в типографию его очередные статьи.

— Как на улице? — спросил Милюков.

— Все то же. Ходят толпами. Требуют войны. Опять грозились на редакцию. Дворник из углового дома был в толпе, кричал: «Довольно с ними целоваться». Страшно сидеть в редакции, Павел Николаевич...

Курьер уважал Милюкова. Он считал, что, если Милюков пишет против войны, значит, у него есть основания. Он не винил его в беспокойствах, причиняемых манифестациями. Но Милюкову казалось, что надо сказать несколько слов человеку, череп которого мог пострадать.

— Они требуют войны? Они сами не знают, какую беду они накликают...

Он стал ласковым и доверительным. Он не отвечал на телеграммы тузов и отмалчивался в редакции, но был откровенен с курьером.

— Война в русских условиях через два-три года приведет к революции. Революция — ее неизбежное следствие. Зачем же радоваться войне?

— Ну, так что ж что революция?—не понял курьер.—

Будет революция, — вы, Павел Николаевич, будете министром.

— Нет, — усмехнулся Милюков, — я тогда не буду министром. Эта революция, пожалуй, будет в другом роде. Она сметет не только их, но и нас...

«Их» — самодержавие, «нас» — либеральных цензовых демократов, способных на кое-какие реформы...

Курьер плохо понимал его. Может быть только через несколько лет он, если остался жив, раскусил, как следует, о какой революции ему говорил Милюков. И может быть только тогда ему стало ясно, что не человеколюбие и не международная справедливость двигали его пером в эти дни, что его статьи были только последним предостережением неумным людям, которые сами катились в пропасть и тащили его за собой. Оппозиционер Милюков в эти дни охранял монархию зорче, чем вернейшие монархисты. С монархией он еще надеялся договориться, от революции ему нечего было ждать.

В толпе нарастало убеждение, что одних свистков недостаточно, что целоваться с газетчиками действительно незачем. Несчастные, дезориентированные репортеры, давно уже не знавшие, в каком стиле им писать, втайне считали, что кара ими заслужена. Если манифестанты поставят своих людей к черному ходу в типографию, бежать будет некуда.

Д. В. Философов, всерьез принимавший гуманность Милюкова, посмотрел на серые лица сотрудников и сказал:

— Надо уметь отвечать за свои убеждения...

Он вскочил на подоконник, он крикнул (или хотел крикнуть):

— Война — преступление! Я против войны. Бейте меня...

Окно было в третьем этаже. Снизу не сразу заметили его длинную экстатическую фигуру. Но еще прежде, чем его успели разглядеть, как сле-

дует, какой-то человек выкатился из подъезда и затесался в толпу.

— Русские люди! — прокричал внизу звонкий голос, и сотрудники с удивлением переглянулись, ибо голос был знакомый и принадлежал не кому иному, как собственному репортеру, специалисту по Распутину: — вот мой совет: пройдем молча мимо этой подлой редакции. И пусть наше молчание будет для нее знаком нашего глубочайшего презрения...

Он подчеркивал: молча, молчание, глубочайшего... Он великолепно произносил эти слова и имел успех. Толпа подтянулась и замолчала. Добросовестно замолчала, чтобы нагнать побольше презрения. А когда, помолчав, он первым двинулся прочь от редакции, ряды колыхнулись вместе с ним.

В статье, которую курьер понес в типографию, Милюков повторял зады. Он писал, что Европа не раз уже была на волосок от войны, и все из-за тех же Балкан и из-за той же Сербии. Может быть, и на этот раз удастся избежать непоправимых ошибок, и силы мира возьмут верх над силами войны.

Но в этот же день в набор обычным порядком проскочило объявление о призыве на действительную службу запасных некоторых губерний и отдельных уездов — канцелярский документ, составленный так серо, что даже не сразу можно было догадаться, что это — война!

Наборщик, набиравший объявление, сам был запасным, но его уезд не был упомянут в списке. Он подумал:

— Ну вот и прекрасно. Обошлись без меня. Два-три месяца как-нибудь пройдут, а там и войне конец...

После работы он сказал товарищу:

— Сегодня ильинская пятница. Я спать не буду, а поеду на Пороховые. Там сегодня кликуш подымают к образам. Надо посмотреть...

Но в шесть утра, когда он вышел на улицу, оказалось, что документ, только что отпечатанный в газете, уже устарел. По тротуару бежал человек с ведерком клейстера и пачкой синих бумажек. Никогда никакие расклейщики объявлений не работали в таком темпе, как этот человек, потный, с остановившимся лицом, каждый раз дивившийся словам, которые он расклеивал. Он разглаживал объявление ладонью, всматривался в строчки, дергался телом и бежал дальше, цокая каблуками по асфальту пустой улицы.

Шрифт был — древний цицеро. Формат — третья часть писчего листа. Содержание — три строчки за подписью царя о том, что вся армия и весь флот переводятся на военное положение. Это означало всеобщую мобилизацию. Различие в уездах переставало иметь значение.

— Это что же такое? — сказал наборщик, вглядываясь и выделяя испарину. — Это что же такое?

День был ветреный, пыльный. Первые желтые листья из Летнего сада проносились через Марсово поле. Молчаливые запасные на углах медленно осиливали противоречие между приказом, напечатанным в газетах, и синенькими бумажками. На поверхность всплыли прапорщики, призванные из запаса и надевшие форму. Тридцать пять тысяч прапорщиков ехали куда-то на извозчиках, не иначе, как на извозчиках, потому что времени давалось в обрез: явиться в два-три места, проститься с двумя-тремя знакомыми. Извозчики настегивали лошадей. Прапорщики проносились как молчаливые, невидящие изваяния. Честь не отдавалась.

Штатский обыватель, из тех, что последние дни добросовестно шагал за флагом, выданным из полиции, вдруг убеждался, что сегодня ему не до флага. Не он ли вчера толпился перед посольствами, кричал: война! война! Сегодня это слово, став реальностью, подавляло его. Сегодня он был вдвое глупее, чем вчера. Немного позже он нашел выход: он заорал, что на него напали, он громил вывески с фамилиями «Шухард и Шютте»,

«Лейнер», «Штоль и Шмит»... Он придирался на улице к первым встречным белобрысым людям, хотя на поверку они оказывались костромскими купцами, он кричал «ура» при виде каждого проезжающего офицера. А когда его право ломать вывески начинало ему казаться сомнительным, он становился на колени и пел «Спаси, господи». Это подкрепляло его на новую деятельность. Но, даже стоя на коленях и проявляя высший энтузиазм, он не мог скрыть в глазах некоторой ошарашенности и овечьего недоумения.

У войны еще не было зрительного облика. Не было потока фотографий в «Огоньке» («Этот убит, и этот тоже, и этот... За что?»), не было простреленной немецкой каски на углу Невского и Литейного, которую за пять копеек в пользу раненых давали подержать в руках («Но ведь точно так же могут убить и меня. Меня то за что?»). Не было даже смирнейшей зеленой лошади, прошествовавшей через город в обозе какого-то полка («Вот видите, на какие хитрости теперь пускаются, — в «Войне и мире» вы ничего подобного не найдете»). Миллион снарядов над Аррасом существовал лишь в воображении Гинденбурга. Газы и противогазы только испытывались в лабораториях. Авиация едва принималась в расчет. Танков не было даже в идее.

Налицо были только синенькие бумажки на углах улиц да женский плач в квартирах запасных, да телеграмма о принятии военных кредитов германскими социал-демократами. На границах еще не стреляли. На границах раскланивались. Автомобиль герцогини Люксембургской стоял поперек дороги, на зло немецким кавалеристам, которые объезжали его, извиняясь, что им пришлось нарушить нейтралитет герцогства. Известия о сражении могли притти дня через два, и пока воевал воодушевившийся тыл. Перед глазами были ошалелые люди, потеющие около немецких

вывесок, да какие-нибудь двое лысых людей в кабаке, до слез возмущенные тем, что оркестр исполняет немецкую продукцию — «Пупсика», да какая-нибудь проститутка, которая подвывала «Пупсику» из своего угла и вдруг смолкла, хлопнула себя по губам и боязливо оглянулась.

Вечером газета меняла фронт. Выпускающий готовил оформление для очередного номера. Он выбросил устаревший узенький заголовок: «Австро-сербский конфликт». Он выбрал самые прекрасные буквы для слова «Война». Он наметил на полосе десяток рубрик: бельгийский фронт, русско-германская граница, Зунд, бомбардировка Белграда, Дальний Восток, Черное море, отношение Англии, нейтральные государства. Он напомнил корректорам, что слова: «царь», «государь-император», «святая Русь» пишутся с большой буквы. Он давал репортерам пять рублей за портрет короля Альберта. Он обещал восемь рублей за портрет герцогини Люксембургской. Он принял меры, чтобы коротенькая передовица, намечавшая новую линию поведения, была целиком набрана жирным:

«В эту торжественную минуту мировой истории Россия явится единой. Все презренные расчеты врагов наших на наши внутренние раздоры рухнут от слова народа, мужественно и спокойно вставшего на защиту своей родины. Перед лицом всего мира и пред своею совестью не мы являемся нападающей стороной, мы только защищаемся и т. д.». От стиля передовой попахивало А. С. Изгоевым.

Бывший пацифист сидел у стола и заканчивал статью. Утром еще его самого удивляло: каким образом он стал бывшим? Легкость перехода была прямо обидной. Он думал: «Неужели я какой-нибудь мальчишка с неустановившимися понятиями? Не я ли с детства помню аксиому: все люди—братья! Почему же я радуюсь, если сейчас русские или французские братья под каким-нибудь городом убивают немецких братьев? Неу-

жели я тростник, колеблемый ветром? Способен ли я вообще иметь какие-нибудь убеждения?»

Он не подозревал, что дело было не в его убеждениях и что сам он был лишь рядовой фигуркой, которую война сейчас ставила на место. Он обиделся бы, если б ему сказали, что в мирное время он мог десятки лет тешить себя какими угодно убеждениями, но что война не терпит недомыслия и найдет каждому его место.

Утром, в день явки запасных на сборные пункты, он стоял в толпе зрителей, плакал и не стыдился слез. «Кто эти люди? — думал он. — Это — русский народ. Мой народ. Я — русский. Только теперь я понял это по-настоящему. Тысячу раз верно, что все люди — братья. Но если ослепленные братья из другой страны нападают на нас, то нам приходится защищаться. Это трагедия, когда братья убивают братьев, но...» Против трагедии он, к слову сказать, никогда ничего не имел: раздвоенность, противоречивость издавна привлекали его.

Он вспоминал из литературы картины войны: как Пьер Безухов отступал из Москвы в толпе беженцев («Вот и мы тоже будем отступать»), как горела Москва, как резали ногу Анатолю Курагину... «Пусть режут» — думал он, глядя на свою собственную ногу. Дальше ноги он пока не шел. Но, мысленно отдав ногу, он уже закреплял за собой право стрелять в других. Тут кстати он вспомнил, что Ницше во франко-прусскую войну пошел воевать добровольцем.

Он шел в редакцию и писал статью об Иванах, которые ушли, и о Марьях и Ванятках, которые остались. Он писал: семьям запасных необходима немедленная помощь. Он рекомендовал для этого создание общественных комитетов, потому что правительству одному не справиться с этим делом. Он помнил, что правительство не доверяет обществу, и добровольно складывал оружие в борьбе с правительством: «Все наши мысли остались при нас. Но нагрянувшие события накладывают на всех русских одни и те же бесспорные обя-

занности, а потому классовые и идеологические различия теряют остроту. Не бойтесь же левых партий, снимите путы с общественности, и русские граждане, желающие работать, покажут вам, на какие жертвы они способны»...

Гессен был неспокоен. Он склонял над корректурами лысую голову, он водил очками по самой бумаге, он принюхивался к стилю и чего-то в нем не находил. Не слишком ли сдержанно? Достаточно ли благородно?

И как, собственно, должен выражаться энтузиазм русского культурного человека: адвоката, врача, студента, инженера, чиновника с высшим образованием? Станет ли такой человек вопить: «ура». Надо ли его к этому приучать? Не лучше ли кричать то же «ура», но другими словами.

Он торопился отыскать эти культурные обходные слова, ибо газете с первого же дня надо было схватить верный тон. Но тут из соседней комнаты выглянул корректор и сказал, что его просит к телефону Татищев, начальник главного управления по делам печати.

— Благодарствуйте, — сказал Гессен. (Он любил это народное слово, но звучало оно у него дико: басовитый властный редактор неожиданно превращался в салопницу, отказывающуюся от пятой чашки кофе.) Он встал, немного удивленны, и, заранее осклабясь, направился к телефону.

Главнокомандующий, к которому перешла власть в городе, был военный человек, мало знакомый с колебаниями интеллигентской души. Он рассуждал попросту: если газета вчера писала против войны, то же самое она будет писать и сегодня. С такой газетой он считал нужным бороться. Он полагал, что имеет дело с людьми твердого слова, вроде Жореса или пятерых думских большевиков. Если бы ему показали материал, заготовленный для очередного номера, он был бы удивлен.

Гессен подошел к телефону, осклабясь.

— Сергей Сергеевич? — пробасил он ласково, в тоне некоторой короткости. — Что скажете, Сергей Сергеевич?

Но Татищев, повидимому, не поддержал этого тона. Он заговорил коротко и официально. Гессен сжался, схватился за воротник, вытянулся как солдат:

— Слушаюсь...

Он повесил трубку мимо вилки и тупо посмотрел на сотрудников:

— Можете итти домой, господа. Газета закрыта.

Покорность астматика овладела им. Он прошел мимо стола с корректурами, которые сразу потеряли всякий интерес, у себя в кабинете достал из бюро какие-то бумаги, чтобы они не попали в руки полиции, и пошел к выходу. Извозчик повез его домой, в постель. У него начался приступ удушья.

Сотрудники, не имевшие правожительства, заслышав о полиции, поторопились скрыться. Сотрудники, имевшие правожительство, также предпочли не задерживаться. Изгоев и корректора остались встречать полицию. Они были свидетелями, как молчаливый, каменный пристав опечатывал набор, свалив в одну кучу прекрасные заголовки, дивно поданную военную информацию и бодрую статью о единении сил.

Гражданская власть была более дальновидна, чем военная. Она понимала, что запрещение газеты — ошибка, что газета не только не будет писать против войны, но станет ее лучшим агитпропом и потянет за собой довольно широкий слой интеллигенции.

Газету даже нужно было открыть как можно скорее: через несколько дней в думе должна была состояться церемония объединения всех политических партий перед лицом войны. Милюкову предстояло пожимать руки Пуришкевичу и Керенскому, обниматься с Коковцевым. Закрытие газе-

ты марало его. Кто-нибудь во время объятий мог ему сказать: «А ведь газетка-то запрещена...»

Нельзя было допускать, чтобы его колоритная фигура выпадала из общей картины. Гражданская власть предприняла шаги перед главнокомандующим для отмены запрещения и дня через два добилась успеха. Газета была открыта так же внезапно, как перед этим закрыта.

В редакции снова горел свет. Выпускающие и корректора сидели по местам. За окнами по старой памяти посвистывали манифестанты. Гессен болел или симулировал. Милюков один ходил по ночной редакции. Прежний материал устарел, нового сотрудники не успели нанести, но он не нуждался в сотрудниках. Он взял из запаса свою последнюю балканскую статью, внес в нее поправки на войну и пустил ее в оборот. Он написал призыв к единомышленникам, призыв к единению думских партий. Он выражал надежду, что правительство соберет думу не на один только день, но будет все время прислушиваться к ее голосу — голосу народной совести. Он написал статью о Вильгельме, в которой задним числом ловил его на противоречиях. Это была культурнейшая из статей, написанных в эти дни о Вильгельме: без мордобоя, всего лишь как о трагически ослепленном человеке, который плохо кончит. Он заполнил своими статьями половину номера, отдав другую половину под телеграммы и объявления. Он ходил по пустой редакции и чему-то улыбался светло и удовлетворенно. Возможно, что его неограниченная способность заполнять газету умными скучноватыми статьями радовала его.

Да и чего ему было не улыбаться? Все было в порядке. Какие-то неопытные последователи, прежде чем уверовать в войну, чувствовали растерянность, сомневались в своей способности иметь какие бы то ни было убеждения, испытывали тошноту перед ломкой воззрений. Сам он не страдал головокружениями. Он гнал прямую линию. Он писал против войны, когда еще

была возможность предотвратить эту тяжелую для монархии опасность и сохранить ее от потрясений. Теперь для той же цели надо было вести войну до победы, ибо только военная победа могла спасти режим, с которым он был связан общей цепью. Его задача была теперь — стать глашатаем войны, дать ей благородные задачи, подвести под нее историю и географию, разукрасить ее лучшими красками, гнать ее до победного конца.

На следующий день редакция работала всеми шестернями. Военный специалист подсчитывал возможные силы Германии и находил, что их не так много. Экономист делил германский урожай на число жителей и предсказывал голод. Писались статьи: война и экспорт, война и медицина, война и женщина, война и мировые запасы металлов, война и что угодно...

Хроника неистовствовала. За четыре дня накопилось достаточно свежих событий. И уже летел потный репортер с Исаакиевской площади, где толпа заканчивала разгром германского посольства и сбрасывала с крыши коней и тевтонов, хватал бумагу и писал:

«После продолжительных усилий многих добровольцев, взобравшихся на крышу, монументальные металлические фигуры, так долго безобразившие площадь, были сброшены на землю. Народ на площади кликами выражал одобрение. Вслед за фигурами был сброшен огромный флагшток с национальными эмблемами Германии. Германский одноглавый орел склонился перед русским двуглавым».

И другой репортер, возвратившийся из объезда рабочих районов, где полиция растаскивала последние остатки июльских баррикад, писал:

«Выборгский район принял обычный вид. Баррикады убраны. Движение происходит беспрепятственно. Со стороны рабочих, недавно еще охваченных забастовкой, не видно желания возобновлять беспорядки.

«Сейчас не время,—говорят рабочие.—В тот момент, когда родина в опасности, наше место — в рядах ее

защитников». Рабочие, призванные по мобилизации, в полном порядке являются на призывные пункты».

И уже сидел в редакции беллетрист и предлагал небольшой рассказ на военную тему: о денщике, спасшем ротного командира (река, переправа на понтоне, обстрел, тяжелый для командира момент, денщик прикрывает его собственным телом). Беллетрист был не из плохих и удовлетворительно справился с материалом, хотя до тех пор писал почти исключительно на сексуальные темы.

И все эти торопливые строки обычным порядком проходили переписку и правку заведывающих отделами, и никто уже не замечал в них ничего особенного. В корректурах они попадали на редакторский стол и только тут под рукой молчаливого Максима Ипполитовича претерпевали некоторые изменения.

Это был иронический толстый человек, эрудит и созерцатель, которому собственный жир и высокие кадетские гонорары помешали стать социалистом. Сентиментальности по поводу двуглавого орла были для него тяжелы. Он с ужасом думал: что же будет, если вся газета заговорит таким языком? Он удивлялся перемене, которая произошла с репортером:

«Вегетарианец взбесился?..»

> Всего несколько дней назад он подавал материал совсем иначе: «С балкона «Нового времени» один из сотрудников призывал к войне. «А вы сами пойдете на войну? — спросил какой-то голос из толпы. — Или ваше дело только посылать других?» Оратор не ответил. В толпе послышался смех».

— Иван Николаевич, — сказал он, призвав репортера,—нам так писать не годится. Достаточно будет, если мы сообщим самый факт: «Массивные бронзовые статуи, обвитые веревками, были сброшены на землю. Вслед за ними был сброшен флагшток с прикрепленным к верхушке германским орлом». Вот и все.

Он ставил точку, улыбался репортеру и считал, что

вопрос исчерпан. И к удивлению видел знакомое усатенькое, но строптивое лицо человека, который внутренно не соглашается, которому больно, потому что от него отрывают что-то ему дорогое. Он в страхе подумал:

«Что делается с людьми!..»

— Иван Николаевич, милый, — сказал он, бросая иронию и, может быть впервые за всю свою редакторскую практику, делаясь задушевным, даже упрашивающим. — Я вас знаю давно. С вами что-то случилось. Это — болезнь. Это пройдет. Через неделю вы сами не будете понимать, как вы могли хвалить толпу, которая врывается в дом, ломает мебель, убивает прислугу...

После мути, напущенной двуглавым орлом, почти приятным делалось упоминание о баррикадах. От самого этого слова шел какой-то ветерок, который в малых дозах был ему вполне по силам. Он позвал автора и вычеркнул абзац о том, что рабочие считают забастовку в теперешние дни преступлением.

— Они разбиты. И этого достаточно. Зачем же еще ставить их на колени? Не забывайте, что газеты с.-д. закрыты наглухо. Нас будут читать и в рабочих кварталах.

Он прочел рассказ о самоотверженном денщике и сказал беллетристу:

— Мы это напечатаем, но не сейчас. Вы опережаете события. Конец надо будет сделать яснее. Непонятно, откуда у денщика такой энтузиазм? Чувствуется все-таки, что это не ваш жанр.

Беллетрист ждал не такого приема и ушел недовольный. Он пожимал плечами:

— Почему это не мой жанр?..

— Ничего, — мимоходом в утешение сказал литературный хроникер. — Это временное. Война кончится, приедут офицеры, захотят читать похабион. И вот вы опять возьметесь за М и Ж...

Его удивило, что беллетрист в ответ на его слова обиделся.

— Вы—циник. Это может быть лучшее из всего, что я написал. Потому что впервые предо мною была высокая цель: служить своему народу, как-нибудь отозваться на великие события...

Иван Николаевич, расстроенный до слез, жаловался, стоя около корректора:

— Мне тяжело работать в этой редакции. У меня вычеркивают лучшие строчки. Как они не понимают, что наша война целиком правая? Ведь если на нас напали, мы должны защищаться?..

Корректор был мобилизованный и через несколько дней уходил в казарму. Он уже чувствовал себя военным человеком и не понимал патриотизма. Ему казалось, что патриотизм — занятие штатских людей. Он наблюдал Ивана Николаевича через плечо, с вялым удивлением.

Этот разговор выпал из его памяти и через полгода при совершенно другой обстановке вспомнился с неожиданной отчетливостью. Он стоял в толпе пленных в штабе немецкой дивизии. Лейтенант выкрикивал какие-то фразы. Переводчик из пленных колонистов переводил: «Вы, скоты, найдется ли среди вас хоть один, кто сможет мне осмысленно ответить на вопрос: зачем вы на нас напали? Зачем ваши свиные орды лезут в нашу страну?» Лейтенант говорил на высоких нотах. Слезливое негодование перехватывало ему горло.

Что касается либерала, который за несколько дней перед этим вскакивал на подоконник и отдавал себя на побоище, то с ним в эти дни произошел досадный казус. Он был любитель путаться в толпе, наблюдать народную душу, искать в ней загадок и разгадок, и однажды, исключительно из народолюбия, пошел он за какой-то манифестацией, которая с Невского свернула под арку штаба, подошла к дворцу и без дальней-

ших бухнулась на колени. На балконе стояли царь и царица. Это был день единения царя с народом.

Что было делать либералу? Он был против самодержавия. Он был конституционалистом и даже республиканцем. Он никогда не имел в виду становиться перед царем на колени и не позволил бы, чтобы его поставили на колени силой, потому что имел самолюбие.

Но он подумал:

«Если я сейчас не стану на колени, это будет понято как протест. А имею ли я право протестовать сейчас, когда весь народ должен быть единодушным? Не будет ли преступлением смущать этих простых людей и вносить в их душу разлад?»

И либерал по чистой совести не нашел в себе этого права и опустился на колени рядом со всеми, сам умиленный необычностью положения.

«На все эти приветствия народа, — как потом сообщалось в официальном отчете, — их величества изволили отвечать милостивым наклонением головы».

Для либерала этот случай оказался роковым. Впоследствии, через несколько лет, народ, — даже тот народ, который был на площади, — встал с колен и встал навсегда. А либерал так и остался коленопреклоненным.

1

День первого мая девятьсот семнадцатого года для Альфонса Вейнерта, крупного силезского крестьянина, ознаменовался волнениями. В этот день из Берлина пришла открытка с точным обозначением вокзала и поезда, к которому его сын Адальберт должен был явиться, чтобы отправиться с батальоном на фронт. Это значило, что все хлопоты, предпринятые для оставления его в тылу, неоднократные поездки к окружному начальству, несколько докторских свидетельств, удостоверяющих наличие у Адальберта наследственного порока сердца, и даже глубокий порез пальца, полученный — возможно, не намеренно — при разборе жнейки, — все это оказалось недостаточным, чтобы задержать его отправку и на один день.

Другим событием в этот день было появление во дворе Вейнерта фельдфебеля из инспекции военнопленных, приведшего с собой какого-то хилого, малосимпатичного, чернявого русского пленного и предъявившего бумажку, по которой новый пленный должен был оставаться в хозяйстве Альфонса, а взамен его фельдфебель уводил одного из пятерых русских, работавших у Вейнерта уже второй год. Альфонс должен был сам решить: кем из пятерых он согласен пожертвовать, и эти размышления и споры с фельдфебелем заняли несколько часов и стоили ему волнений.

Трое из пленных — крестьяне-пермяки, косари и силачи — были с самого начала исключены из обмена. Четвертый, кавказец, не косил, но годился на многое и, между прочим, чтобы стоять у мотора во время молотьбы и подливать бензол. Пятый, тоже кавказец, был хо-

рош как кучер при выездах в коляске: нигде в округе Альфонс не встречал кучера, который бы сидел так прямо и с такой истуканской неподвижностью. Альфонс все-таки, в конце концов, решил пожертвовать приятным полезному и согласился выдать пятого, который и был вызван с работы и без особых разговоров уведен фельдфебелем со двора.

Новый пленный во время переговоров стоял в стороне, с утомленным и безучастным лицом, хотя Альфонс не однажды вперял в него негодующий взор, оценивая его силу и годность к работе. Хуже всего была отметка в его бумаге, что за ним уже числится один неудачный побег с работы, в то время как из пленных Альфонса еще ни один не бегал, и новый пленный мог испортить остальных. Замечание фельдфебеля, что едва ли он решится бежать еще раз, ибо достаточно проучен и за первую попытку, совершенно не успокоило Альфонса. Оставшись, после ухода фельдфебеля; наедине с новым пленным, он еще раз с негодованием оглядел его, придумывая, на какую бы работу его послать.

— Кюе путцен! — вскричал он, багровея, ибо из осмотра лишний раз убедился, что новый пленный ничего не стоит и годится разве в стойла чистить коров. — Кюе путцен!

— Кюе путцен! — в восторге подхватили дворовые ребятишки, следившие за этой сценой через окна и не удержавшиеся от удовольствия передразнить громовые интонации Альфонса.

Они обступили нового пленного любопытной, но дружелюбной толпой, провели его в коровник, где более полусотни коров томились на цепях, дали штригель и щетку и поставили на место, объявив, что они дадут ему знать, когда Альфонс или Марта покажутся вблизи, а до той поры он может не надсаживаться.

Альфонс, проводив нового пленного глазами, расстроенный, вернулся в дом, собираясь отдохнуть. Он был тучен, всякие волнения были для него гибельны, неудачный обмен рабов надолго разбередил его. Он хотел при-

лечь, но еще одна неожиданность помешала ему. Это был Гуго Шуберт, пришедший наниматься в работники и терпеливо ждавший, пока Альфонс покончит с более важными посетителями.

Гуго Шуберт провел десять лет в чужих краях, состарился и теперь вернулся в Козельберг, чтобы жить на родине. Альфонс не сразу узнал его. Когда-то Гуго считался красавцем и задирой,—об этом сохранились воспоминания, — однако странствия и жизнь на чужбине сильно изменили его: сейчас это был высокий, сутулый человек, с сединой в волосах и следами сифилиса на лице, смирившийся перед жизнью, в присутствии Альфонса не надевавший шапки и почтительно моргавший вывороченными веками.

Гуго Шуберт явился кстати: во время войны взрослые работники всегда были кстати, особенно весной, и Альфонс с места дал понять, что возьмет его. В сущности Гуго делал Альфонсу честь тем, что явился именно к нему, ибо его так же легко взяли бы и у Криштэфа и у Гауке. Подумав, можно было догадаться и о причинах этой чести: не было ли это желанием работать в одном дворе с Каролиной, той самой Каролиной, из-за которой он когда-то и отправился странствовать и которая два последние года вдовела?

Эта мысль нашла себе подтверждение, когда речь зашла о помещении для Гуго. Комната рядом с конюшней, где ночевали Шульц, Корль и другие одинокие работники Вейнерта, на ближайшее время удовлетворяла Гуго, но в дальнейшем он рассчитывал получить отдельную квартиру. Альфонс не стал особенно расспрашивать, зачем ему нужна отдельная квартира, и сказал, что квартира найдется. На этом разговор с Гуго кончился, он взял по обычаю от Альфонса два старых серебряных талера, как знак найма. С завтрашнего дня он должен был начать работать.

Альфонс Вейнерт жил по часам. Он не признавал летнего перевода стрелки на час вперед, и все его рабочие также были обязаны не признавать его. До шести

утра и между двенадцатью и часом пленные могли сидеть в кухне, пить сахариновое кофе или обедать, и Альфонс не требовал, чтобы они в это время интересовались чем-либо происходящим снаружи. Но ровно без двух минут в шесть и без двух минут в час он выбегал на середину двора и выкрикивал расписание предстоящих работ: кто на какое поле пойдет, какую лошадь запряжет, какие вилы и из какого сарая возьмет. Расписания были сложны, как диспозиции армии перед боем, и произносились громовым голосом, который раскатами отдавался в многочисленных, перенумерованных, пустых перед жатвой сараях.

Это было что-то вроде ежедневного богослужения, ибо не только пленные, но и немцы-работники плохо понимали его отрывистый крик, и дело шло без запинки главным образом потому, что люди, работавшие на его полях, знали, чего можно ожидать на каждый день, и понимали все с полуслова.

Ровно в шесть и ровно в час начиналось движение пеших рабочих в поле, за ними выезжали конные. Сам Альфонс скрывался в дом, чтобы окончить еду, а затем выходил в поле смотреть, как выполняются его приказания. Он наблюдал, распоряжался, взбадривал работников, уличал их в нерадивости, очень редко высказывал им свое удовольствие. У него была привычка появляться внезапно в самых неподходящих местах. Говорили, что прежде от него нигде не было спасения, но с годами тучность и одышка умерили его рвение. Случаи нерадивости и глупости слишком волновали его, и на многое он теперь сознательно закрывал глаза, уходя из неприятного места с багровым лицом, хватаясь за сердце, но не говоря ни слова.

2

Нового пленного звали Костей. Товарищи также называли его «сержантом», ибо на войне Костя был унтер-офицером, но употребляли этот термин скорее в ироническом смысле. Он представлял собой яркий при-

мер беспомощности городского человека в деревенском быту. То, что ему поручалось, он старался выполнить, не любил стоять без дела и потел больше всех во дворе, но каждый пустяк ему давался с трудом. Альфонс полагал, что он попросту глуп, и приближался к нему со страхом, всегда ожидая от него поводов для волнений.

Среди лошадей Альфонса имелись два молодых шимеля, коричневых, совершенно одинаковых, отличавшихся только тем, что один из них был чуть-чуть побольше другого. Любой мальчишка во дворе Вейнерта с первого взгляда различил бы, какая именно из них побольше и какая поменьше, только не Костя, который, если ему случалось получить от Альфонса приказание: «запрячь маленькую» — попадал в затруднительное и смешное положение. Он шел в конюшню, по дороге проклиная себя за то, что никак не может запомнить: справа или слева стоит маленькая? Он подходил к лошадям и, напрягая всю свою зоркость, оглядывал их сзади и сбоку. Он убеждался через момент, что лошадь справа была заметно меньше левой, и уверенно брался за правую цепь. Но, прежде чем вывести лошадь, он хотел еще раз убедиться в своей правоте, заходил с другого бока, снова оглядывал лошадей,—и его уверенность исчезала. Странным образом ему начинало казаться, что лошади совершенно одинаковы, вернее даже — левая лошадь не больше, а меньше правой. Он падал духом, привязывал правую лошадь на место, топтался в стойле, звонил кольцами, симулировал какую-то деятельность.

— Где вы, Костиа? — рычал со двора Альфонс. — Или лошади съели вас? Поторапливайтесь, выводите маленькую...

— Ее надо почистить, — кричал Костя в отчаянии и, чтобы протянуть время, хватался за щетку.

— Мой бог! — удивлялся Альфонс, появляясь в дверях. — Зачем вам чистить левую лошадь, если запрягать надо правую?..

Или: Костя маленьким плужком на смирнейшем Фрице опахивал бурак, а Альфонс стоял рядом и изнурял

его поучениями. Среди бурака местами торчали стебли красного мака, и требовалось смотреть, чтобы плужок, ерзая, не срезал маков, которые у Альфонса были на счету.

— Следите за тремя вещами, Костиа. . . — однотонно повторял Альфонс: — чтобы лошадь шла по середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы она не забрасывала их землей. Это так просто, Костиа. Всего три вещи, за которыми надо следить: чтобы лошадь шла по самой середине борозды, чтобы она не наступала на растения, чтобы. . .

Однако, поучение, повторенное с десяток раз, приводило как раз к противоположному результату, и Костя, вначале пускавший лошадь довольно прямо и удачно обходивший опасные места, кончал тем, что загонял плуг вкось и сбивал маки самым бессмысленным образом. Альфонс хватался за сердце, поворачивался и без слов отходил.

Был также случай с картошкой, который плохо повлиял на репутацию Кости. Картошка в огороде при доме была посажена гораздо раньше, чем на поле, и уже успела высоко прорасти к тому дню, когда на поле лунки только заваливали землей. И когда на следующий день Альфонс сказал Косте полоть картошку, он никак не предполагал, что Костя пойдет не на огород, а именно в поле, и будет там бродить вдоль черных гряд, вытаскивая случайные травинки. Застав его за этим занятием, Альфонс серьезно усомнился в его умственных способностях. Даже собственные товарищи Кости, другие русские пленные, знавшие, что Костя не дурак, но, как городской человек, до войны служивший на телеграфе, мало что понимает в крестьянстве, — даже они, узнав о случае с картошкой, посмотрел и на Костю по-новому. Они и прежде по разным поводам подтрунивали над ним и уже привыкли к тому, что по утрам он никогда не помнил, где с вечера оставил вилы, но идея: полоть картошку на другой день после посадки — была чересчур глупой даже для бывшего телеграфиста.

— Вот что, сержант, — оценив положение, сказал Косте пермяк Никита: — если останешься у Альфонса до осени, много горя примешь...

— Рад бы не оставаться, — отвечал Костя уклончиво, — да ведь меня не спросят...

Жест выражал покорность судьбе, но в глазах товарищам почудилась неискренность. Они знали, что за Костей числится побег, знали также, что человек, бежавший один раз, не остановится и перед новой попыткой, и едва ли могло быть, чтобы Костя не думал об этом.

— Держись около нас, — сказал ему другой русский, Игнат. — Там, где трое работают, четвертый может крутиться...

Это звучало как обещание дружеской поддержки, обещание, и без того ежедневно десятки раз выполнявшееся на деле, — и в то же время обидно обнажало действительную сущность отношений — они работают, он крутится.

Его только интересовало, куда в их расчетах девался еще один пленный, кавказец Гурген, который при молотьбе становился к мотору: работал ли он или тоже крутился?

Мнение Альфонса на этот счет также было совершенно определенное.

— Я кормлю пятерых, а работают у меня трое, — воскликнул он однажды, беседуя с фельдфебелем, вновь посетившим его. — Четвертый бывает полезен. Но пятый... Ради бога, за какие преступления вы посадили мне на шею этого пятого?

Итак, как ни старался Костя, то, что он делал на дворе Вейнерта, ни на чьем языке не называлось работой. Поняв это, Костя осел. Он потел попрежнему, но только чаще стал посматривать на горы вдали, за которыми была Австрия, первый этап всех побегов из этой части Германии.

Чаще всего Альфонс посылал Костю работать вместе с женщинами — полоть пшеницу или на картошку и бурак. С женщинами Костя чувствовал себя уверенно; они знали, когда надо поработать и когда можно присесть, знали, с какой стороны следует ожидать Альфонса и на какое количество работы он в праве рассчитывать.

Из женщин самая немолодая звалась Аннемари. У нее была крошечная фигура и ревматические ноги, и, когда в подоткнутой юбке, не сгибая колен, она шла по полю, она была похожа на блеклую фарфоровую пастушку, подвигавшуюся голландским шагом на невидимых коньках. Ей было пятьдесят шесть лет, но и в пятьдесят шесть лет она все еще краснела при упоминании о том, что у нее есть дочь, ибо родила ее лет тридцать назад, не будучи замужем. Дочь жила через несколько станций от Козельберга, и у нее давно уже были свои дети. Аннемари навещала их, но свои поездки обставляла тайной. Семейству ее дочери отдавалась и большая часть хлеба, который она зарабатывала у Альфонса. Сама она жила впроголодь. Костя видел, как однажды она подняла с земли сальную бумажку от бутерброда.

— От нее пахнет мясом... — говорила она, блаженно принюхиваясь. — Какая прелесть!..

Аннемари знала историю каждого двора в Козельберге и могла бы многое рассказать, если б была в состоянии доводить свои истории до конца. Из ее рассказов ничего не выходило, потому что обычно одни ее истории на середине перекрещивались с другими историями и одни и те же имена начинали играть роль в событиях противоположного характера.

Когда Аннемари начинала путать, другая женщина, беленькая Каролина, которая по годам могла бы быть ее дочерью, резко поправляла ее. Казалось, путаница в рассказах Аннемари причиняла Каролине физическую боль, и чем дальше заходила путаница, тем больше страдания было на ее лице. И Аннемари, робевшая от окри-

ков, привыкла, рассказывая что-нибудь, глядеть ей в лицо, и в зависимости от его выражения рассказ ее то шел бойко, то с заминками, то обрывался совсем. Без одобрения Каролины то, что рассказывала Аннемари, было недействительно.

Точно так же, если во время работы Аннемари говорила, что пора присесть отдохнуть, это еще не значило, что все действительно последуют ее приглашению и сядут; требовалось узнать, что думает Каролина, и, если Каролина находила, что отдыхать рано, работа продолжалась. Если же сама Каролина говорила, что пора отдохнуть, никаких одобрений ни с чьей стороны больше не требовалось.

Каролина в тридцать пять лет была не лишена приятности. Спереди у нее нехватало зуба, и это портило ее общий облик маленькой белой мыши. Сохранившаяся у здешних женщин манера подпоясываться двумя ремнями — одним повыше, другим пониже талии — также не шла ей, ибо собственно талии у нее уже не было. Остроконечная соломенная шляпа, с козырьком для глаз, надеваемая для работы, была ей не по фигуре велика. Зато синие глаза, глядевшие из-под козырька, привлекали печалью и задумчивостью и делали ее существом более поэтическим, чем остальные женщины.

Возможно, именно ее грустные глаза понравились Игнату, одному из русских пленных, или же его привлекала в ней ее вдовья степенность. Он выделял ее среди других женщин. Он ничего не имел против, когда стряпка Хедвиг сошлась с Никитой, его однодеревенцем, не обратил внимания, когда работницей-полькой завладел кавказец, но показывал зубы, если видел чьи-либо поползновения в сторону Каролины.

Костя однажды на себе испытал, что значит, когда Игнат начинает злиться. Костя знал немного по-немецки и однажды завел с Каролиной разговор, невинный, но которого Игнат не понимал. И вот неожиданно на него обрушилось столько окриков по работе, столько обидной правды, такая злоба была во взгляде Игната, что

Костя опешил. Товарищи объяснили ему, в чем было дело.

Повидимому Игнат не признавал легких отношений и любви на время, и с места стал смотреть на Каролину как на свою жену. Сам он, в его теперешнем положении, был парией, бесправным существом, которое ежедневно под конвоем приводилось на работу, а вечером тем же порядком уводилось в казарму на ночлег. Цена ему была, кроме харчей,—двадцать пять пфеннигов или двенадцать с половиной копеек в день. Он был обязан молчать, во всем зависел от конвойного, носил платье с арестантскими вырезами и номером на груди, был придатком к паре собственных рук, которые в сущности и обозначались его именем и фамилией. Но впоследствии, с окончанием войны, эти самые руки должны были открыть ему дорогу куда угодно, и он только не знал, повезет ли он Каролину с собой в Россию, или останется с ней в Германии.

Странная была эта любовь, где любовники уже второй год объяснялись взглядами и жестами, или же словами самыми будничными и самыми грубыми, — ибо грубые слова первое, что постигается в чужом языке, — где все разговоры происходили на людях во время работы, а для встреч наедине оставались минуты во время обеденного перерыва, если путь в комнату Каролины был свободен.

Разговор с Каролиной, из-за которого чуть не пострадал Костя, а также другие его разговоры с женщинами — объяснили ему, в чем собственно заключалась грусть, так таинственно отражавшаяся в ее синих глазах. Каролина грустила, что осталась одна вдовой, с семилетним Фрицем. Она чувствовала себя беспомощной в настоящем, ее беспокоило будущее. В плохую погоду она говорила, что наверное прежде в такой день ей незачем было бы выходить в поле, что работал бы муж, а для нее нашлась бы работа и дома. Каждую пятницу она по утрам вспоминала, что замужние работницы в эти дни не выходили в поле: по пятницам до обеда

им полагалось печь хлеб в альфонсовой печи, ибо паек у Альфонса они получали мукой, а не готовыми караваями, как одинокие работники. Ей не полагалось ни болеть, ни лениться, она должна была каждый день итти, куда скажет Альфонс, между тем она была хрупка, и сил у нее становилось все меньше.

Игнат, с его привязанностью, был ей дорог, — но все, что касалось Игната, ей представлялось фантастическим: на что можно положиться, когда человек даже не может рассказать словами, чего он хочет, и только показывает рукой, что когда-то они вместе куда-то уедут? Между тем Каролина никогда в жизни не выезжала из Козельберга, даже на ярмарку в окружной город ходила не каждый год, и широкий жест Игната не умещался в ее голове.

Кроме того ее беспокоил Гуго. Она знала, что он не спроста поступил работником к Альфонсу, догадывалась о его планах и страшилась их. Они казались ей невозможными, но она чувствовала себя беспомощной против них.

Если Каролина, с ее грустью, напоминала безобидную беленькую мышку, то ее сестру Берту, жену коровника Винтера, также нередко выходившую в поле, скорей можно было бы сравнить с матерой серой крысой, разгуливающей на задних лапах. У ней были крысьи глаза и крысьи повадки. Во дворе Альфонса она была главным вредителем его добра. Разнюхивать, похищать, урывать что-либо из его богатств, по мелочам перетаскивать в свою нору — было ее ежедневной потребностью, хотя бы это была лишь связка мелких полешек из его сарая, мерка картошки из погреба или огурец с его гряды. Огурец прятался в карман, по карманам же распихивалась картошка, поленья увязывались в сноп соломы и на глазах Альфонса перетаскивались через двор в коровник, откуда затем переходили по назначению.

Более серьезные дела начинались, если ее ставили к веялке. Тогда вместо полешек в снопы увязывались узкие мешочки с зерном, и дело грозило бы тюрьмой,

если б сноп по дороге через двор развязался. Говорили, что операции Берты с зерном в предыдущий год приняли широкие размеры, один из пленных, обмененный кавказец, тот самый, который умел править лошадьми, сидя как палка, был ее помощником. Рассказывали даже о целой подводе с зерном, ловко среди дня вывезенной на мельницу. Гурген, товарищ обмененного, намекал, что когда-нибудь, уезжая в Россию, он расскажет обо всем Альфонсу. До тех пор Берта могла быть покойной. Никто из работников не путался в ее дела.

Среди двора у Альфонса стояла башня для птиц: внизу жили куры и утки, вверху голуби. Сам Альфонс лишь в редких случаях ел своих кур; он считал, что они ему не по средствам, для него резали голубей. Между тем, пересчитывая кур, он убеждался, что число их убывает. Это было делом рук Берты, которая находила, что ей альфонсовы куры как раз по средствам, и между двумя похищениями не делала больших промежутков. Альфонс догадывался о причинах убыли, наливался кровью, но не подымал шума, избегая волнений. Десятые, двенадцатые доли похищенного расходились по рукам, — Берта знала, куда и что рассовать, — все делались ее соучастниками и помалкивали.

В практике Берты были также случаи откровенного озорства. Она не только срывала огурец с гряды, но и вырывала с корнем побеги, доводя до слез Марту, жену Альфонса, которая никак не могла понять такой дикости. Даже сам коровник Винтер, ее муж, невозмутимо наблюдавший за всеми ее делами, сделал ей по этому поводу замечание.

— Пустяки, — ответила Берта: — Альфонс не обеднеет. У него много...

И засмеялась вынужденным, полузадушенным смехом, не давая мужу продолжать.

Шутливые отговорки и вынужденный смех часто были ее единственной защитой, если против нее выдвигались обвинения.

— Ты плохая женщина, — кричала ей однажды в ссоре

какая-то работница. — Ты портишь двор. Ты хуже всех...
— Неужели хуже меня нет? — отшучивалась Берта. — Бедная я грешница...

Костю она также не оставила без внимания и попыталась приручить его к себе.
— Костя, — подошла она к нему однажды, — я заметила: ты ходишь в амбар за овсом для лошадей. Альфонс дает тебе ключи?
— Да, — ответил Костя, удивляясь теме разговора, — я иногда хожу в амбар...
— В амбаре у Альфонса много зерна, не правда ли?
— Да, — подтвердил Костя, — там много всякого зерна.
— А не мог ли бы ты, Костя, прихватить немного зерна для меня? Какую-нибудь горсть пшеницы или ячменя? Я бы сварила кофе. Я бы угостила и тебя, Костя.
— Во что же я его возьму? — уклончиво сказал Костя: разговор тяготил его, но оборвать его он не мог, чтобы не обидеть Берту. — Мне не во что взять зерно.
— А в карманы, милейший Костя, в карманы. Горсть утром, две горсти вечером — ведь в конце концов из этого должно что-нибудь получиться?

Костя кивнул головой и промолчал, но ни разу ничего ей не принес. Зато он заметил, что если за овсом ходил Пауль, пятнадцатилетний сын Берты и ее даровитый ученик, он спускался оттуда с оттопыренными карманами и красным лицом. Пауль не был косым, но в этот момент глаза у него смотрели косо. По инстинкту, он шел прямо на Альфонса, чуть не задевая его. Альфонс сторонился, чувствовал неладное, багровел, но молчал.

4

К Паулю Костя питал симпатию. Сам он на работе потел и передвигал ноги, но, если б было можно, он всегда бы сидел. В сущности, с первого же своего трудового движения утром он уже чувствовал себя уста-

лым и не без зависти наблюдал Пауля, который работал весело и как бы мимоходом.

Если им случалось вдвоем чистить конюшню, Костя влачил свою тачку с медленностью раба на древних пирамидах. Он надсаживался, когда вкатывал ее вверх, надсаживался, когда она катилась вниз, таща его за собой, и обыкновенно она опрокидывалась не там, где он хотел. То же самое у Пауля выходило много веселее: он сраската вгонял тачку вверх, а затем пускал ее лететь по доскам, куда ей заблагорассудится, и однако навоз у него разлетался пластами, не оставляя горбов и не портя общей картины навозной кучи.

Так же легко Пауль обращался с лошадьми, и, если ему требовалось заставить лошадь переступить на другое место, он тыкал ее чем попало в бок, даже не отклоняясь, на случай если бы она его ударила. Костя, который на задние ноги лошади всегда смотрел со страхом и никогда бы не решился ее ударить, в такие моменты наблюдал Пауля с искренней завистью.

Если Альфонс посылал их вдвоем на лошади на последний участок, по дороге между ними бывали ссоры. Костя, всегда усталый и думающий о покое, любил тихую езду, чтобы можно было сидеть, свесив ноги через решетку, и, прищурив глаза, смотреть, как синеет овес на холме, или как солнце пробивается сквозь сосны на далеких Судетах. Между тем на Пауля простор действовал возбуждающе, и он начинал горланить и гнать лошадь, не разбирая дороги. Костя, потревоженный в мечтаниях, сердился, пробовал его утихомирить, пытался отобрать у него вожжи. Это не всегда удавалось. Мир наступал после того, как Костя вынимал табак. Табак соблазнял Пауля, а взяв что-либо у человека, он уже не мог быть с ним грубым.

Пауль был покладист, но держал тон наравне с кем угодно. Столкновения с ним и для взрослых не всегда кончались удачно, ибо там, где он не мог взять силой, он отбегал и издали забрасывал противника грязью и чем попало, обещая в будущем разделаться с ним, как

следует. А человек со следами свежего конского помета на лице всегда имел глупый вид, как бы силен и грозен он ни был.

От матери он перенял любовь к похищениям: он не только отряхивал яблони в чужих садах или на дорогах — что по немецким понятиям не пустячное преступление — или присваивал себе, что ему нравилось из имущества товарищей, но не забывал и городских магазинов, где он бывал редко, но откуда уходил, обязательно унося какую-либо добавочную ценность, неоплаченную им и часто совсем ему ненужную. Костя видел, как однажды, в придачу к конверту, за который он заплатил, он унес бесплатно книжку, оказавшуюся «Афоризмами» Шопенгауэра. Книжка, не говоря о содержании, поставила его втупик тем, что была новая и неразрезанная.

— Как мне быть? — спросил он Костю, с удивлением разглядывая книжку, которая перелистывалась сразу по шестнадцать страниц. — Я не могу ее читать, если листы слеплены вместе...

И после раздумья, с подъемом, свидетельствовавшим, что он дошел до решения собственным умом, он сказал:

— Я их разрежу!..

От отца, старого солдафона Винтера, он перенял некоторые солдатские замашки: здороваясь, он умел раскатываться навстречу как бы с почтением и, застопорив, протягивал руку, сплевывая в то же время на сторону. От отца же к нему перешло уменье ругаться и забрасывать противника прозвищами, иногда совершенно непонятными: проклятый жаворонок, милостивый государь, кисточка, свинячий ежик...

На слова он был скор и даже хвастал, будто самому каплану на исповеди он каялся в стихах:

Ich habe geflucht, gelogen
Und Katze beim Schwanz gezogen...

— что значило: я ругался, я лгал, я таскал кошку за хвост...

Но, вероятнее всего, на самом деле этого не было. Были вещи, перед которыми он робел: перед плакатом у кино, изображавшим необыкновенных людей, перед машинистом на паровозе, орудовавшим сложной махиной, перед музыкантами за то, что они умели играть на трубах.

Сам он очень неплохо играл на губной гармонике. У него был верный тон и простая манера. Но странно, если его просили сыграть, этот малозастенчивый юноша робел и отнекивался.

— Я не умею, — говорил он, краснея и стараясь удрать, — я совершенно не умею...

Если Пауль и его легкость в работе внушали Косте зависть, то был во дворе Альфонса человек, который работал с еще большей надсадой, чем он, — хромой Корль. Разница была та, что Костя, несмотря на неохоту, все-таки крутился, Корль же не находил этого нужным. В поле, если его туда посылали, он занимался тем, что стоял на одном месте, поджав хромую ногу и наблюдая, в какую сторону пошел Альфонс. Если поблизости оказывались русские пленные, не любившие работать за других, они сердито окликали его, и Корль принимался работать, а потом жаловался Паулю, что русские — злые, нехорошие люди.

Недостаток внимания к его хромой ноге обижал его. Он жестами ссылался на нее, он взывал к милосердию и справедливости, но встречал равнодушие и подозрения в симуляции. Хромота не мешала ему таскать тяжелые мешки, — это занятие он любил и, подставляя плечо, в ответ на неизбежное напутствие Альфонса, чтобы он не разбил мешка на лестнице, обиженно кричал:

— Я ношу полтора центнера вверх...

Это были редкие моменты, когда в нем просыпалась гордость человека, который что-то может. Обычно он отлынивал, как мог, и работать с ним в паре, не поссорившись, было невозможно.

Однажды Костя и Корль прочищали борозды на картошке. Костя вел лошадь по борозде, Корль дер-

жался за плуг и через каждые две борозды бросал поручни и садился отдыхать.
— Ну, ну, Корль, вставай, — взбадривал его Костя, потому что без понуждения Корль не встал бы никогда. — Мы еще ничего не сделали...
— Нога, — кратко говорил Корль, кивая на хромую ногу, и, считая вопрос исчерпанным, продолжал сидеть.
— Альфонс подымет крик, когда придет, — настаивал Костя. — Вставай, вставай!
— О ком он заботится? — удивлялся Корль. — Об Альфонсе. Поверь, у Альфонса и так хватит...

Он не прочь был поболтать на эту тему. Он показал на альфонсовы поля и на дом в отдалении, а затем перевел палец на себя: на свою грязную рубаху и заскорузлые ноги в сбитых опорках. Он предлагал Косте дискуссию по вопросу о богатстве и бедности, но Костя знал только, что если заданная работа не будет сделана, то вечером можно ждать разговора с конвойным.
— Все это прекрасно, — говорил Костя, не вдаваясь в подробности. — Но нечего сидеть по полчаса. Это не работа...

Он повел лошадь в борозду, в уверенности, что Корль не посмеет бросить плуг без управления и встанет, но Корль посмел и остался сидеть. Он с любопытством посмотрел Косте вслед и ухмыльнулся, когда плуг с первых же шагов въехал на гряду и срезал растение. Костя был вынужден бросить лошадь.
— Да встанешь ли ты, дохлая скотина! — в бешенстве подбежал он к Корлю и протянул руку к его шее. — Вставай сейчас же!

Он побаивался получить сдачи, ибо Корль был не слаб. К его удивлению, Корль съежился, ожидая удара, а, получив по шее, заморгал глазами и сказал, что пожалуется конвойному.
— Пленный не смеет бить немца, — сказал он жалобно. — Это запрещено...

Из двух с половиной караваев, получаемых им по пятницам от Марты, Корль один продавал куда-то в го-

род. С понедельника у него не оставалось хлеба, и до пятницы он должен был терпеть.

Жизнь его от понедельника до пятницы была мучительна. По утрам он выходил на работу, похлебав голого кофе, наесться он мог только картошкой за обедом, и дело осложнялось тем, что он никогда не знал, сколько ему оставалось ждать до обеда, ибо был единственным работником Альфонса, не имевшим часов.

Часы для работников Альфонса были необходимой принадлежностью. У Кости они лежали в кармане штанов на цепочке и вынимались незаметным жестом, даже на глазах Альфонса. Часы Игната, серебряные, с крышечкой, были запрятаны подальше и вынимались реже. У Аннемари они были в кожаном браслетике, и, чтобы посмотреть на них, требовалось только выгнуть пухлую ручку, на что в присутствии Альфонса она не решалась. Часы Каролины, с несколькими крышечками и заводившиеся ключиком, вынимались в редких случаях. Зато ее сын, синеглазый Фриц, обладатель большого никелевого хронометра, также во время жатвы выходивший на работу, то и дело смотрел на часы и, пробегая по полю, радостно объявлял:

— Через тридцать пять минут феспер. [1]

А во время перерыва не менее радостно:

— Через десять минут вставать...

Течение времени само по себе забавляло его.

Корль, голодный и мучимый неизвестностью, носился по полю, мотаясь на сиденьи какой-нибудь усовершенствованной сеноворошилки.

— Ви шпэт? [2] — спрашивал он умоляюще, проезжая мимо кого-либо из работников, и, склоняясь с тычка, внимал.

Было в обычае обманывать его. Ему говорили время на полтора часа назад, он с ужасом отскакивал и влекся

---

[1] Полдник.

[2] Сколько времени?

дальше, и только потом, сопоставив разные признаки, догадывался, что его надули.

— Ви шпэт? — спрашивал он, склоняясь в другом месте, всем своим видом говоря, что дело идет о крайности.

Тут ему называли время на час вперед. Корль радовался, но потом соображал, что и этого также не могло быть. Он переставал верить кому бы то ни было, влачился взад и вперед в самом печальном состоянии и, только увидев, что работавшие на лошадях один за другим поворачивают ко двору, догадывался, что наступило одиннадцать часов, час кормежки лошадей у Вейнерта. Почувствовав твердую почву, Корль приободрялся, чтобы снова затем огорчиться при мысли, что до обеда все-таки оставался целый час.

Корль был также единственный во дворе Вейнерта, кто страдал от вшей. Он стыдился их и не чесался на глазах у других, зато постоянно шевелил плечами, дергался лицом, ежился и всегда имел вид человека, прислушивающегося к себе и ожидающего нападения откуда-то изнутри. Он зарабатывал гроши, — немногим больше пленных, — и рубаху получал раз в год в виде рождественского подарка от Альфонса. Та рубаха, которую «малютка Христос» принес ему в прошлую зиму, была плохого качества и давно загнила, и нередко после работы, замученный вшами, он снимал ее и отдыхал, надевая пиджак на голое тело. В такие минуты он выглядел, как пытаемый, на полтора часа снятый с дыбы.

Русские пленные наблюдали его не без сострадания, видя у него знакомые признаки уныния, когда вошь окончательно обседает человека.

— Корль, — говорили они, — ходи веселей: веселого человека вошь не так кусает...

Корль до слез обижался, слыша такие советы, и укреплялся в мнении, что русские нехорошие люди, но когда, в придачу к советам, русские подарили ему чистую смену белья, он не знал, что ему думать. На неко-

торое время русский подарок помог ему, но затем началось старое.

Старик Шульц, также работавший у Вейнерта, был существом побольше карлика, но поменьше всякого даже и очень низкорослого человека. Он был обладателем большой губной гармоники с колокольчиками и черного осеннего пальто. Имущество это он, свернув, носил с собой на работу в поле, повидимому опасаясь дома воров. Над ним смеялись и считали его чудаком, хотя на самом деле это была молчаливая демонстрация, которой он хотел привлечь общее внимание к случаям пропажи хлеба из его сундука. В краже хлеба он подозревал Корля, и не без основания, но объяснять это на словах не мог или потерял охоту, и только иногда неразборчиво ворчал, фыркал и шевелил выпяченными скулами.

Он был медлителен, и, если случалось, что один из снопов, которые он перетаскивал из сарая в коровник, по дороге падал на землю и развязывался, он останавливался в замешательстве.

— Один развязался...— вздыхал он, созерцая лежащий сноп.— Да, да, вот он лежит...

Он мог поступить двояко: положить на землю то, что оставалось в руках, связать развязавшееся и отнести все сразу, или же оставить развязавшийся сноп лежать, отнести, что оставалось, и потом вернуться. Он делал движения, показывавшие, что он думает предпринять то одно, то другое.

— Иезус, Иезус!— вздыхал он, окончательно запутавшись.

— Тьфу!— плевал он вдруг с отвращением, сложив губы по-лягушечьи.

Привычка неожиданно и обильно плеваться также была его особенностью. Ему случалось помянуть имя божие и притти в мирное настроение, и вдруг начать плеваться самым исступленным образом, как раз тогда, когда слушатель этого не ожидал.

Он курил дважды в день, сейчас же после обеда и

ужина, — и весь двор знал об этом. Костя однажды предложил ему своего табаку. Шульц, удивившись, набил трубку, закурил, помолчал, а затем поднял на Костю растроганные глаза, зашевелил скулами и совершенно раздельно произнес несколько слов благодарности и дружелюбия. Оказалось, что он отлично умел говорить, но в обстановке двора Вейнерта, среди постоянных насмешек, почти отвык от этого.

Сам Альфонс Вейнерт был невысокий мужчина, с воловьей шеей и пухлыми пальцами, которые он пускал в ход лишь для того, чтобы набивать и выколачивать трубку и открывать и закрывать амбары. Тяжелая работа была ему запрещена, но он говорил, что, если бы был в состоянии, он показал бы рабочим, как надо работать. Сейчас он мог только ходить и смотреть, и даже свое любимое занятие — проверку мышеловок в амбарах и на полях — он должен был передать другим, Паулю и кавказцу Гургену, ибо сам не мог нагибаться.

Он редко выходил за пределы своих владений, так как не имел в этом надобности: все, что ему требовалось, было у него под рукой. Он с гордостью говорил, что ему не нужно ничего чужого, но что и своего он не намерен уступать никому ни крохи.

Он крепко держался этого правила, и бедняки, являвшиеся к нему с реквизиционными ордерами на ничтожные доли картофеля для посева, получали его лишь после длительного и крикливого предисловия. Альфонс говорил, а они молчали и, только выйдя за ворота, позволяли себе сказать что-нибудь по адресу богача, который не понимает, что люди кругом мрут с голода.

Кругом разливалась бедность. Нищие, которых прежде не было в этих местах, все чаще стали заглядывать на кухню с жалким видом и молитвой бедных на устах. Объявление, что хозяин дома — член союза по борьбе с нищенством, прибитое на воротах, не помогало. Людей, пренебрегших объявлением на воротах, встречала еще приколотая к двери квитанция об уплате взноса за текущий месяц, но и она мало кого останав-

ливала и сама, выцветая от солнца, превращалась в ненужный лоскут.

Альфонс любил свои поля. Ничего другого он не хотел знать. От работников он также требовал только работы, и в остальном они не интересовали его. Их нерадивость он считал неизбежным злом и вносил в свои расчеты как необходимую поправку. Он давал им пищу и пфенниги, не мешал им изредка менять солому на нарах, требуя лишь, чтобы облошивевшая солома была представлена назад в хозяйство; раз в год они получали от него рождественский подарок, и — он считал свои расчеты с ними покончеными.

Бессловесные твари внушали ему больше сочувствия, и если случалось, что ветер подымался в то время, как на его полях рассевалась известка и едкая пыль набивалась лошадям в глаза, он подходил и, мучаясь, вытирал им углы глаз первым, что попадалось ему под руку, хотя бы это был совершенно чистый носовой платок, но не обращал никакого внимания на пленных, у которых лица также были вздуты от извести и которым также нечем было вытереться.

5

Гуго работал и гнул свою линию. Первое время люди избегали смотреть в его безносое лицо, и их взгляды мимо его глаз, их невольное движение задержать дыхание при разговоре с ним он принимал с светлым смирением. Затем его отношения с людьми стали увереннее, к нему привыкли, и он первый доверчиво улыбался другим. Он как бы говорил: «Я смирился, я не обижусь, если вы оттолкнете меня, но ведь и я тоже, как все люди, имею право жить и дышать».

Он умел работать и работал по специальным заданиям Альфонса. Родные поля, которых он так давно не видал, умиляли его, и нередко он оглядывался кругом просветленно и с удовлетворением, как человек, попавший наконец на свое место.

— Пусть говорят, что угодно, про чужие края,—сказал он однажды Косте, с которым нередко вступал в разговоры мимоходом. —Для меня на свете нет края лучше, чем Козельберг...

Костя, на которого Козельберг наводил тоску, не мог разделить его восторгов и вежливо промолчал. Но Гуго сделал жест, что понимает его.

— У каждого человека есть свой Козельберг, — пояснил он свою мысль. — Есть и у тебя, Костя. Когда-нибудь ты это поймешь...

Вид человека, отделенного от своего Козельберга тысячами верст, внушал ему сострадание.

— Я понимаю тебя, Костя,—сказал он, дружески взяв его за локоть: — один, вдали от своих, во вражеской стране... Я понимаю тебя...

Костина неумелость пробуждала в нем желание поучать его. Он делал это осторожно, не очень выставляя свое превосходство и выбирая примеры, на которых, быть может, учили его самого.

— Как ты думаешь, Костя, — спросил он его однажды, глядя с холма на козельбергские поля, — какой ширины вот этот черный кусок?

Он показал на длинную полосу между картошкой и ячменем и хитро посмотрел на Костю.

— Десять или двенадцать метров, — ответил Костя, смерив кусок на-глаз.

И хотя на самом деле это было так, Гуго покачал головой и тихонько улыбнулся, ибо дело было не в метрах.

— Ты городской человек, Костя, — сказал он снисходительно. — Ты думаешь: достаточно перейти через поле, и вот ты на другой стороне. Ты думаешь — вот его ширина. И так думают все, кто никогда не пахал. Но пахарь знает, что поле состоит из борозд, и надо пройти все борозды вдоль одну за другой, и только тогда ты придешь на другую сторону. Вот какая его ширина...

— Так-то, Костя, — сказал он потом, сам умиленный

своей мудростью, и бодро взялся за плуг, чтобы измерить этим способом ширину будущего ржаного поля.

Бодрость и уверенность заметно преобладали в его настроениях, и ясная улыбка все чаще появлялась на его лице.

Ему редко случалось работать вблизи Каролины, еще реже приходилось с ней говорить. И тем не менее все знали, что его дело начато и с каждым днем подвигается вперед. За него работала Берта. Она мимоходом забегала к нему в конюшню и охотно выслушивала его честные доводы, а потом шла к сестре, заводила разговор, намекала отдаленно, подходила ближе, ставила вопросы ребром, и, выслушав отказ, смеялась полузадушенным смехом, говоря, что, конечно, Каролина еще подумает, прежде чем ответить окончательно. И, обхаживая сестру, она больше чем когда-нибудь была похожа на толстую серую крысу, разгуливающую на задних лапках, вынюхивающую, выжидающую.

Доводы в пользу брака с Гуго появлялись у ней при всяких случаях. Если кому-нибудь случалось быть в церкви и он в разговоре упоминал об этом, она говорила:

— Обрати внимание, Каролина: до войны в нашей церкви пел прекрасный хор из мужских и женских голосов, мужчин и женщин было поровну. А теперь: кроме женщин, поет один учитель, да и тот только подтягивает каплану. Во всей деревне нет мужчин, милая моя. Бедным девушкам не за кого будет выходить замуж...

По пятницам, выходя после обеда в поле, она рассказывала об утренней суете у хлебной печи:

— Было превесело. Ригерша пекла черный, а белую муку ухлопала на печенье, чтобы послать мужу на фронт — такие нежности! Я на этот раз попробовала полубелый с тонкой корочкой. Прямо ужас смотреть, сколько ячменя подсевает Марта в хлеб для работников... Если бы ты пекла сама для себя, ты бы сразу заметила разницу...

Если Каролина выходила на работу, перемогая слабость, Берта не упускала случая заметить:
— Тебе только тридцать пять, и ты уже падаешь с ног. Я с ужасом думаю, что останется от тебя к сорока годам, если так пойдет дальше.

Каролина молчала. Ей нечего было возражать сестре, перед которой она была так же бессловесна, как Аннемари перед ней самой. И все-таки брак с нелюбимым клейменным человеком казался ей слишком обидным жребием, чтобы подчиниться ему без сопротивления.

Гуго ничего не требовал. Он поверял Берте свои планы и ждал. Казалось, он понимал, что он не в праве чего-либо требовать. И даже, если он замечал, что в дверь Каролины прошел Игнат, он молчал. В таких случаях он уходил к себе в конюшню и там, прячась от людей, плакал. Это были покорные слезы нищеты, у которой другие, шутя, отнимают последнее.

Берта однажды застала его в конюшне в таком состоянии и затем сейчас же прошла к Каролине для решительного разговора. Нравственное негодование придавало ее доводам особенный вес. Положение и на этот раз осталось невыясненным, но, хотя еще ничего не было решено между Гуго и Каролиной, дверь Каролины отныне была заперта для Игната. Берта настояла на этом: раз Каролина еще не ответила Гуго окончательно, раз она еще думает, она не должна испытывать его терпение.

И кроткий взгляд Гуго после этого случая стал еще светлее, в то время как Игнат задумался и насторожился.

Сущность дела была ему понятна, но подробности, ежедневно усложнявшиеся, ускользали от него. Чтобы их понять, было мало одних жестов, требовались слова.

Одно он понимал ясно: его здесь не только ставили на одну доску с осколком человека, каким был Гуго, но этот осколок все заметнее перевешивал его. Осколок чувствовал себя привольно на козельбергской земле,

он ходил по тропам, протоптанным с детства, в то время как его водили по этим тропам под конвоем. Он был здесь случайным человеком, пленным с номером и жестянкой, и, что бы он ни делал, в этих местах он всегда стоил бы дешевле любого безносого немца.

Обидно было, что в деле, касающемся его, его не спрашивали. Приходила Берта, улыбалась Каролине с выжидающим видом и шла дальше. Каролина подымала голову, глядя вслед шагавшему за плугом Гуго, и тяжелая задумчивость надолго искривляла ее лицо. Аннемари робко сидела рядом, не решаясь прервать молчание. Что-то совершалось на его глазах, история подвигалась вперед, а он ничего не знал.

Иногда в разговорах работников он слышал имя Каролины и слова, которых он не понимал, а все, чего он не понимал, он истолковывал в обидном для себя смысле. Шульц и Корль, казалось ему, знали обо всем больше, чем он. Даже Костя, болтавший с немцами, казалось, что-то скрывал и издевался, и неожиданно во время работы Игната прорывало, и он начинал по разным поводам одергивать Костю, глядя на него со злобой, а костино молчание и осторожность только делали его вдвойне подозрительным.

Был даже случай, когда Игнат пустил в ход руки, за шиворот вытащив Костю из-под стенки ржи, с межи, куда тот пошел по нужде. Костя был не первый, кто ходил туда, и было странно, что Игнат, прежде не обращавший на это внимания, вдруг так рассердился.

— Я отучу тебя гадить по межам, — кричал он. — Нашел темное место. Ты думаешь, рожь тут вечно стоять будет? Когда я буду косить, а ты за мной с горстями побежишь,—ты же в кучу носом уткнешься... Ты у меня ее руками уберешь...

Злоба Игната шла кривым путем, — ближайший товарищ не мог бы его понять. Она не затронула ни Гуго, ни Берты, но от нее несколько дней терпел Костя, от нее же пострадал юный Пауль, который как будто чересчур много знал, — из столкновения с Паулем Игнат сам

вышел потрепанным и с забрызганным грязью лицом,— а затем она обрушилась на самого Альфонса Вейнерта. Альфонс не имел отношения к делу, но он был хозяин и немец, высшая точка здешних мест, и гнев Игната не мог миновать его.

Дни перед сенокосом были для пленных днями годовщины: их пригнали к Альфонсу перед сенокосом два года назад, — и Альфонс не забывал отмечать эти дни маленькими подарками. В прошлом году каждый из пленных получил по пачке сигарет, в этом году было дано по две пачки. А после подарков произносилась речь о переходе на долгий летний день и о прибавке платы: двадцать пять пфеннигов не годились для четырнадцатичасового дня и сразу превращались в пятьдесят, в шестьдесят пфеннигов. Бумаги и никеля у Альфонса хватало, а пленные, у которых деньги уходили на табак и очко, видели в прибавке порядок и справедливость и уже два раза — вскоре по приезде и в прошлом году — выслушивали альфонсову речь с одобрением.

Эта речь была как бы добавочным молебном к его обычным непонятным богослужениям, ибо Альфонс, как всегда, говорил без переводчика, отрывистым криком, и главным пунктом речи была цифра, выведенная пальцем на стене. Дойдя до цифры, Альфонс дружески улыбался, делал разрешительный жест и удалялся в уверенности, что вопрос улажен к общему удовольствию.

В этом году он произносил свою речь в третий раз, и, однако, несмотря на то, что на этот раз он назначил не шестьдесят, а восемьдесят пфеннигов, он заметил, что его речь производит на пленных неодинаковое впечатление. Никита и Матвей, стоя по-солдатски, мирно внимали ему, но Игнат глядел хмуро и недружелюбно. Костя, которого прибавка не касалась, был безучастен, Гурген, как не косивший, также смотрел на дело со стороны: он выполнял разные особые поруче-

ния и не любил смешивать себя с остальными пленными.

— Ахциг пфенниг![1] — подчеркнул Альфонс и, показав на стене цифру, ждал в ответ обычного одобрения и был удивлен, когда Игнат хрипло крикнул:

— Не желаю!..

Альфонс не знал русского языка и не привык, чтобы пленные возражали ему с такими интонациями, как Игнат. Он покраснел, но не потерял благосклонного вида. Он дал себе труд подумать: чем мог быть недоволен Игнат, — и решил, что его не удовлетворяет плата. В этом пункте он не упирался.

— За хорошую работу в сенокос, — сказал он, легко выходя из положения, — мне не жаль и марки в день.

Он начертил на стене «100» и улыбнулся, считая вопрос исчерпанным.

Он посмотрел на Игната дружелюбно, но Игнат еще злее и с явным вызовом ответил: — Не желаю!..

Альфонс смутился. Дело выходило из обычных рамок, и в первый раз за два года ему понадобился переводчик, чтобы понять, чего хочет пленный. Казалось даже, что собственные товарищи Игната его не понимают и оглядываются на него с недоумением. Альфонс подозвал работницу-польку. Марта, следившая издали за происходящим, подошла ближе и стала рядом с мужем с негодующим лицом.

— Я не могу дать больше марки, — сказал Альфонс срывающимся голосом, — я связан соглашением всех хозяев деревни, у которых работают пленные...

Полька перевела его слова, и пленные ее поняли, и все-таки Игнат еще раз с надсадой прокричал:

— Не желаю...

— Он не желает, — повторила по-немецки полька, сама удивленная.

— Чего же, в таком случае, он желает? — спросил Альфонс, багровея и хватаясь за сердце.

---

[1] Восемьдесят пфеннигов.

Он подождал, но и с помощью переводчика ему не удалось добиться ответа на этот вопрос, ибо и сам Игнат не знал, чего он хочет, и продолжал твердить одно:

— Не желаю...

Но тон у него стал скучным и жалобным.

Дело принимало затяжной оборот. Никита и Матвей неодобрительно молчали, Костя не шевелился, Гурген морщился, словно совестясь мужичьей невежливости своего товарища, и, так как из амбара неожиданно выскочила мышь, он по привычке наклонился, поймал ее, ударил о стену и оглянулся на Альфонса, ожидая одобрения.

Игнат был одинок и никем не понят.

— Я знаю, чего он желает, — негодующим тоном вступилась Марта. — Он желает, чтобы мы позвали конвойного... Он этого добьется...

Корль, посланный ею, заковылял в дом, где как раз сидел конвойный, который обедал и ужинал по-очереди во всех дворах, в которых работали пленные, и в этот день был нахлебником Альфонса. Он не замедлил притти и, выслушав Марту, тотчас же сам загорелся негодованием. Он поднял приклад, чтобы на месте проучить Игната, но Марта, жалея Альфонса, попросила его не делать этого на его глазах. Затем Игнат, подталкиваемый сзади и зло оглядываясь, исчез со двора, чтобы в карцере обдумать, чего он, собственно, желает от Альфонса, а Альфонс, красный, теребя пухлыми пальцами воротник, который вдруг стал ему узок, ушел в дом. Марта шла рядом, готовая поддержать его, если с ним что-нибудь случится, но ее помощь оказалась ненужной. Дело его было не так плохо: он твердо держался на ногах, хотя после неудачной речи ему требовалось немного полежать.

6

Начался сенокос, и случай с Игнатом скоро был забыт. Игнат работал как обыкновенно. Нового в нем

был лишь взгляд исподлобья, которым он встречал Альфонса, и новый жест: невзирая на присутствие Альфонса, он вынимал часы и смотрел время. Этот жест, от которого Альфонс менялся в лице, держался у него несколько дней, а затем исчез так же, как и взгляд исподлобья. Игнат снова смотрел на Альфонса просто в глаза, но отмалчивался и мрачнел, встречаясь с Мартой. Потом исчезло и это.

Некогда было вдаваться в тонкости. Подходила жатва, и первая же добавочная творожная шаньга, вынесенная в полдник для косцов, польстила его косцовской гордости, и, забыв о всяких счетах, пошел он вровень с Никитой и Матвеем обивать альфонсовы поля, работал до дрожи в подмышках, перемогался и не подавал вида, и, казалось, уставал меньше, чем Костя, все дело которого было бегать за косцом и тупым серпом сгребать скошенное со стенки, откладывая горсти для снопов. С чистым сердцем работал Игнат и, даже когда Альфонс не совсем уверенным голосом позвал косцов притти и в воскресенье, легко согласился, хотя по инструкции мог бы на этот раз с полным правом сказать: «Не желаю».

— Игнат отбесился, — заключила о нем Марта и при встрече улыбалась ему добродушно: взгляд у нее на людей был как на скотов, которых нечего корить тем, что они тоже иногда начинают брыкаться и мычать, — стоит их постегать веревкой, и с ними снова можно ладить...

К Косте, который на косьбе потел и представлял жалкое зрелище, Игнат относился сочувственно, давал отдохнуть, где мог, и только покосился, когда дело по-очереди дошло до межи на ржаном поле с обнажившейся на ней кучкой старого человечьего помета.

Свезли рожь, принялись за пшеницу. Три косца переходили с участка на участок. Костя бегал за Игнатом. Гурген возил снопы. На Гургена косцы поглядывали косо: он был силен и мог бы нести тяготу наравне с ними, они считали, что работали за него, между тем

как с них уже было достаточно и костиной доли, которую тоже как бы несли они. Но если Косте его слабость прощалась, а сам он был почтителен и признавал косцовское превосходство, то с Гургеном, посматривавшим на них свысока, бывали ссоры. Намеки на дармоедство обижали Гургена, он говорил, что, если бы Альфонс назначил его косить, он стал бы косить, он даже просил об этом Альфонса, который ответил, что не находит это нужным. И хотя дело, таким образом, не зависело от Гургена, обвинения в захребетничестве оставались и портили ему кровь. Он платил косцам взглядами свысока и тайным недружелюбием.

— Альфонс рад, что нашел дураков... — сказал он однажды Косте, кивая на косцов. — У него в сарае есть жнейка. Он ее бережет. Зачем ее портить, зачем гонять лошадей, когда есть три болвана, которые будут потеть с утра до ночи? Пусть стараются: и машина цела, и соломы больше...

То же самое, но в совершенно другом тоне, он повторил в лицо косцам, он как бы изобличал перед ними альфонсову скупость, но даже голого упоминания о совершенно исправной жнейке, которая стоит в сарае в то время, когда три косца выбиваются из сил, было достаточно, чтобы началась ссора, во время которой Никита даже поднял над головой Гургена косу.

— Чтобы попугать, — минуту спустя сказал он Косте, встревоженному таким оборотом дела. — От него вредный дух.

Между тем, Гурген с тех пор стал серьезно опасаться за свою жизнь.

Игнат отбесился, вошел в норму, все с ним, казалось, обстояло благополучно, и все-таки в праздники, сидя в казарме под замком, он не скрывал тоски и, не садясь за очко, валялся на нарах, глядя мимо людей, как больной. Или развязывал сумку, разворачивал старую посылку из России — пермские сухари с черемухой — перекладывал их, отделял целое от крошева, крошево съедал, остальное завязывал. Над сумкой

подолгу задумывался, грустил. Утешало его, в конце концов, то же очко и в самом вечеру надрывное фальцетное пение:

Ехали солдаты
Со службы домой...
На плечах погоны,
На грудях кресты...

Игнат думал о доме. Не представлял себе иного возвращения домой, как в погонах и крестах. Не допускал, чтобы с погонами и крестами когда-либо что-либо случилось. И хотя в команду дважды в неделю приходила из Берлина газета для пленных на русском языке, где в это время как раз сообщалось, что низложенного царя перевезли в Тобольск и что Керенский, подготавливающий наступление, издал приказ об аресте государственного преступника Ленина, — читали эту газету из команды один-двое, да и те считали, что это пишется немцами нарочно. Летом было не до газет, нехватало времени и на очко, и газетой с ничего не говорящими фамилиями застилался стол, за которым шла игра.

На пшенице с Игнатом пошло хуже: он заболел, испортил нутро, не мог есть. По утрам, выезжая за клевером, он бросал косу, валился лицом в землю, отлеживался. Никита и Матвей набивали фуру без него. На пшенице становился в ряд, входил понемногу в работу, в перерывах снова валясь лицом вниз. Однако, конвойному о болезни не заявлял: совестно было бросать товарищей, и кроме того болезни без температуры в тридцать восемь градусов все равно не признавались.

И точно так же, как Игнат, в перерывах валялась на земле работница-полька, вязавшая снопы. Она пила отраву для выкидыша, ничего не добилась, болела и очень мучилась. Ее страдания были сильны, но еще сильнее была магнетическая сила альфонсовых глаз, поддерживавшая ее на работе на ногах.

Ее будущий ребенок кое-кого заинтересовал. Знающие люди считали его отцом Гургена, но, так как и Корль тоже поглядывал на польку со вниманием, было

удобно свалить все дело на него. Люди при встречах подмигивали Корлю, поздравляли его, льстиво удивлялись:

— Корль — папа!..

К общему удивлению, Корль принимал поздравления почти всерьез. Повидимому, он значил в этом деле больше, чем предполагалось. В другое время в этой истории разобрались бы, как следует, и, может быть, посмеялись бы, но теперь некогда было заниматься этим.

Почти без внимания оставлен был также и один необычный разговор между Гуго и Корлем в конюшне, где Корль после работы сидел без рубашки, отдыхая от вшей. В конюшне только что побывала Берта, и после разговора с ней Гуго был в повышенном и самом светлом настроении. Он говорил Корлю о радостях семейной жизни и, восхваляя их, не избег хвастливости, точно самому ему эти радости уже были знакомы. Он давал понять, что сам он как бы уже стоит на другом берегу, и покровительственно спрашивал Корля: почему бы и ему не вступить на этот путь?

Корль слушал его, склонив голову.

— У меня нет денег! — вскричал он вдруг жалобно, точно его тащили куда-то на аркане и он боялся не устоять. — У меня нет денег...

Во дворе Вейнерта появился новый персонаж — стройная, некрасивая девушка, в городском платье и с бегающими глазами — племянница коровника Винтера, приехавшая из Берлина. Ее костюм и ее бездеятельность во дворе, где все крутились в работе, бросались в глаза. Предполагалось, что она приехала из Берлина подкормиться, но многие также интересовались: чем она занималась в Берлине? Когда об этом спрашивали Винтера, он не отвечал на вопрос прямо и усмехался, если собеседник сам начинал называть какие-либо профессии.

— Я слышал, — спрашивал его кто-нибудь, — она была продавщицей в табачной лавочке?

— Ну, что вы! — весело улыбался Винтер. — Она только хотела поступить в табачную лавочку...

— Значит, в кондитерской? — поправлялся собеседник, смущенный хитрым выражением его глаз. — Мне что-то говорили, но я спутал...
— Какая там кондитерская! — отмахивался Винтер еще веселее.

Он глазами подсказывал какое-то решение, но собеседник, имея в виду, что говорит с родным дядей о профессии его племянницы, делал вид, что не понимает его, и в замешательстве продолжал называть профессии одну за другой, в надежде, что Винтер остановится на какой-нибудь, кивнет головой и прекратит истязание.

Но Винтер не думал кивать головой, и, когда находил, что достаточно помучил неосторожного вопрошателя, весело объявлял:
— Не угадали. Прямо удивительно, что вы не могли догадаться. Она — самая обыкновенная берлинская...

Он называл уличную профессию и с барабанной простотой хохотал собеседнику в лицо.
— Мы выписали ее, чтобы она помогла Берте во время свадьбы: некому печь штрицеля...
— Значит, свадьба — решеное дело? — спрашивал собеседник, радуясь, что вылез из неловкого положения. — Каролину можно поздравить?
— А с чем поздравлять?— снова ошарашивал его Винтер. — Гуго—славный парень, но у него в одном месте нехватает пустяка...

Он показывал себе на нос и весело смеялся.
— Между тем, в церкви уже было первое оглашение. Каплан спрашивал: не имеется ли у кого возражений против брака Гуго Шуберта с вдовой Каролиной Кристен? — ни у кого никаких... конечно, кроме как у самой Каролины...

Гуго был торжествен и молчалив. Он работал теперь на ячмене. Альфонс извлек, наконец, жнейку из сарая и посадил на нее не кого-нибудь, а именно Гуго. Это был знак доверия, возвышавший его над теми, кто только вязал снопы или накладывал их на возы, — а этим делом теперь занимались пленные, — и в его взгляде, ког-

да он проезжал мимо них, вместо обычной кротости, они замечали независимость и благосклонную важность.

Этот оттенок не шел в облику Гуго, делал его незнакомым, и снова, как в первые дни, стал бросаться в глаза недостаток его лица, к которому уже успели привыкнуть. И, посмотрев ему однажды вслед, Игнат вдруг затосковал и сказал дрогнувшим голосом:

— Он душной...

Так за обедом он говорил, если в супе попадалось гнилое мясо, которого он не переносил, оставляя на тарелке даже то, что его соседи, подумав, съедали. С тошнотной гримасой он проводил взглядом Гуго и задумался, бледный, что-то перед собой видя, подавленный жалостью.

У Кости было одно лагерное воспоминание, которое ожило в этот момент: так выразительно было лицо Игната. Он вспомнил бараки и проволоку, и окна госпиталя, к которым в сумерки пробирались за остатками голодные пленные из штрафного барака. Они стучат в окна и вынимают из-под курток мисочки. Окон много, и некоторые из них открываются, выставляются руки с баками, и содержимое их выливается в подставленные миски. Под окном венерической палаты также стоит человек с миской и, не отрываясь, следит за струйкой супа, льющейся сверху. Главное, что его интересует: густо или жидко, много или мало? Когда перестает капать, он впервые взглядывает наверх, на того, от кого получает дары: за стеклом, закрывая окно, безносый человек улыбается ему степенно, с сознанием совершенного доброго дела. У человека внизу миска в руках вздрагивает, он отворачивает лицо от окна в ужасе, делает движение вылить суп на землю. Потом он взглядывает вверх еще раз, поникает головой, приставляет миску к губам. Слезы стекают у него по щекам, пока он пьет из нее.

Много чужого народа перебывало во время жатвы на альфонсовых полях. Когда последний сноп на участке укладывался на воз и пленные еще раз граблями об-

ходили поле,—начиналось шествие собирателей колосьев. Горожане в крахмальном белье и женщины в шляпах, старухи и дети,—все, кому позволяло время, были рады добыть себе этим путем лишний кусок хлеба. Им предоставлялось то немногое, что оставалось после граблей работников, и если кто-нибудь, по неопытности, являлся с мешком, в надежде на большую добычу, над ним смеялись и заставляли бросить мешок на меже. Они шли шеренгой на несколько шагов друг от друга и поднятые колосья складывали в букетики, отлично умещавшиеся в левой руке. Толщина букетика зависела от остроты зрения, от уменья быстро нагибаться, но еще больше от работников, которые могли оставить больше и могли огрести поле начисто...

Альфонс не любил, когда приходили люди из города. Когда косили луг вблизи дороги, редкий из пешеходов проходил мимо, не попросив у него клочка сена для своего кролика. Альфонс не отказывал, но обилие просьб и необходимость выслушивать благодарности утомляли его. Люди из города были вежливы, и за каждый клок сена благодарили, по крайней мере, трижды, причем благодарности выкладывались не сразу, а с промежутками, заполнявшимися еще каким-либо незначащим разговором.

Кроме того у Марты, происходившей из города, осталось там немало родни, которую Альфонс тяготился поддерживать, и теперь они являлись на поле и становились в шеренгу среди чужих людей, чтобы хоть этим путем получить то, на что они рассчитывали. Собственный дядя Марты, отставной аптекарь, грузный старик в сюртуке, сопя, шел среди других и, по неуменью сгибаться, добывал лишь самые скудные букетики. Альфонс видел во всем этом скрытый протест и бежал от родни в дом.

Полуслепая босая женщина шла в одиночестве по полю. Она отставала от других и ей приходилось бегать после всех по уже обшаренным местам. В одном углу она наткнулась на пленных, которые как раз подгребли

туда заметную груду колосьев. Игнат кивнул ей на колосья и сделал поощрительный жест:

— Бери...

Женщина остановилась перед колосьями, как перед большим искушением. Она оглянулась на других людей, которые ушли далеко, посмотрела в направлении альфонсова дома.

— Если Альфонс увидит, — сказала она, разгоревшись, но томимая нерешительностью, — мне нельзя будет притти сюда в следующий раз...

Она почти решилась протянуть к колосьям руку, но чьи-то шаги, послышавшиеся с верхней дороги, спугнули ее. Шаги были легкие и торопливые и не могли принадлежать Альфонсу, но женщина сейчас же отошла от искушения и больше не подходила.

Пешеход был Фриц, сын Каролины. Он шел из города и нес в руках крошечный аптечный пакетик. Его хронометр был с ним, и первым делом он объявил пленным точное время, а потом показал, что у него в пакетике.

— Шафран для желтых штрицелей...

Он не забыл рассказать, что, кроме желтых штрицелей, будут еще штрицеля с яблоками, для чего они с Паулем уполномочены сделать геройскую вылазку в альфонсов сад сегодня вечером, и убежал, вспомнив, что его ждут дома...

7

Пакетик шафрана свидетельствовал, что история Каролины и Гуго подходит к концу. Игнат посмотрел на него с любопытством не большим, чем у остальных, и ничего не сказал. Казалось, он равнодушно принял пакетик к сведению. Костя так и понял его и был удивлен, когда в тот же вечер Игнат завел с ним необычный разговор.

Вечером, по пути с поля, Костя остановился закуривать, а Игнат, проходя мимо, шепнул ему несколько слов и глазами дал понять, что он может сейчас не от-

вечать. Ближайшие люди были за ними на много шагов, никто не мешал бы Игнату остановиться и как следует поговорить с Костей, и если все-таки он выбрал для разговора тюремную манеру — шопот на ходу, неподвижное лицо и острый взгляд, — так только потому, что о некоторых вещах полагалось говорить именно этим способом.

Иначе беседа их была бы подозрительной. О чем, с точки зрения Альфонса, могли совещаться друг с другом двое пленных, тайно от товарищей и с взволнованными лицами? — О совместном побеге, ни о чем больше, особенно если учесть, что для разговора уединились: Костя, уже бывавший в бегах, и Игнат, не так давно обнаруживший, что жизнь в Козельберге была для него совсем не так приятна, как думал Альфонс.

И Альфонс, и Марта, не говоря уже о конвойном, всегда подозревали у пленных желание бежать; другие, как Винтер или Пауль, легко допускали у них эту склонность, да и остальные во дворе, не исключая Шульца и Аннемари, имели о ней понятие.

Летом был случай, когда вблизи Козельберга патруль поймал неведомого русского пленного. Его провели через деревню, чтобы до распоряжения запереть в карцер при команде, и многие его видели и интересовались им.

Правда, Косте долго пришлось объяснять Каролине, что это был за человек, чего он хотел и каким образом случилось, что, работая где-то в Оппау, за сто верст от Козельберга, он однажды в арестантском платье и с куском хлеба в кармане нырнул в кусты и через три недели в полумертвом состоянии вынырнул в трубе под козельбергским мостом. Пришлось несколько раз повторить ей всю историю сначала, прежде чем она что-нибудь поняла: путешествия, столь легкомысленные и несчастные, были выше ее разуменья.

Тем не менее, после случая с беглым все во дворе Вейнерта знали уже, что пленные имеют свойство убе-

гать, а дворовые мальчишки, присутствовавшие на облаве, были не прочь отличиться при их поимке.

Разговор Игната и Кости был именно о побеге. Игнат без предисловий предлагал себя Косте в товарищи, по-видимому, не сомневаясь, что у Кости уже имеется план. Тон у него был почтительный, точно он признавал старшинство Кости в этом деле и отдавал себя в его распоряжение.

Было хорошо, что Косте не требовалось отвечать на это предложение сразу, потому что первым его чувством было удивление, неприятное и ошарашивающее: он скрывал свои мысли от всех, в разговорах с кем бы то ни было старательно обходил тему о побегах, при других не позволял себе смотреть на горы, чтобы чем-нибудь не выдать себя, — и тем не менее его намерения были всем понятны, и к нему обращались с такой уверенностью, точно он расклеивал объявления о том, что собирается бежать и приглашает желающих.

Гораздо сильнее, однако, была в нем радость, явившаяся в следующий момент. У Кости в Козельберге было две жизни: одна видимая, покорная, для Альфонса и товарищей, другая — тайная, проходившая в мыслях о побеге и в вечном разладе с собой. Опыт первого побега был ему памятен, опыт второго, в случае новой поимки, должен был быть во много раз печальнее. Он уже не раз назначал себе сроки для решительных действий, которые затем откладывались, и уже давно презирал себя за свою нерешительность. Временами ему казалось, что он уже никогда не отважится бежать, и дни таких сомнений были несчастнейшими днями его жизни. Чужая рука ставила его на ноги. Он не входил в подробности, почему именно Игнату захотелось вдруг в Россию; он чувствовал только, что он заряжен достаточно и что вместе с ним попытка во всяком случае будет сделана.

Плен был устроен прочно. Вся Германия для пленного представляла одну большую тюрьму, где сорок восемь миллионов человек сторожили его. Часть пленных

сидела в лагерях за проволокой, и первый шаг к свободе для них был труднее, чем для пленных, работавших по деревням и выходивших в поле без конвоя; но со второго шага их положение делалось одинаковым, ибо по какой бы дороге они ни пошли, в какую бы яму ни спрятались, первая же пара из сорока восьми миллионов пар глаз, заметившая их, означала для них конец путешествия. Прекрасно поставленная телефонная служба немедленно приходила в движение; район оцеплялся, беглый выползал на свет.

Пленный мог ходить по ночам, когда из сорока восьми миллионов сторожей большая часть спала. Но и тогда дороги и мосты были не для него, он шел в стороне, полями, по компасу, переходил реки в брод или на чужих лодках, обходил всякое человечье жилье. Каторжник, бежавший с Сахалина, был по сравнению с ним в более выгодных условиях. Ночные переходы подвигали его вперед на ничтожную величину. Иногда вся его энергия за ночь уходила на то, чтобы выждать момент и незаметно пробежать через железнодорожный путь. Днем он отсиживался во ржи, в ельнике, в трубах под мостами, там, где заставал его рассвет. Он должен был уметь переносить жажду и предрассветный холод и не делать никаких попыток вылезать днем из своего убежища.

В побег он уходил с запасом сухарей, которого хватало на некоторое время, а затем ему оставалось поддерживать себя картошкой, накопанной ночью и испеченной на костре в лесном овраге, пшеницей, оставленной на ночь в ящике сеялки, яблоками с деревьев на шоссе, редко — кражами из кладовых.

Только люди с сильным духом и крепким телом могли долго выдержать эту мучительную и скучную жизнь. Более податливые, слабея, переставали соблюдать осторожность с той строгостью, какая требовалась, и неизбежно попадались.

Такова была проза побега, которая, однако — хоть и в очень редких случаях,— приводила побег к удачному

концу. Люди, которым медлительная проза была не по нраву, создавали себе более скорые, но гораздо менее надежные планы. Им казалось, что достаточно поучить немецкий язык, одеться как все немцы и, избавившись от первого преследования, итти, не скрываясь, разыгрывая из себя одного из толпы. В такие планы, как самая привлекательная их часть, входили разные приключения: путешествия на крыше экспрессов, случайные встречи с красивыми женщинами, влюблявшимися в беглецов и дававшими им приют, бумажники с огромными суммами, найденные на дороге, ночлеги в избушках лесника, у которых сыновья как раз оказывались в русском плену и которые поэтому не только не делали пленным зла, но и проливали вместе с ними слезы...

Люди, обладавшие воображением и уставшие от пресной жизни в плену, охотно создавали себе такие планы, которые на поверку ничего не стоили.

Научиться кое-как говорить по-немецки было не трудно, но это только вело к тому, что человек, преувеличивая свои знания, пускался в разговоры, между тем малейшая ошибка в первой же фразе, какое-нибудь неправильно поставленное на слове ударение — выдавали его.

Достать штатский костюм также было возможно, хотя и не легко, но к этому костюму требовалось уменье его носить и соответствующая ему физиономия. Пленному негде было упражняться в искусстве носить костюмы, ибо обычно он ходил в платье с арестантскими вырезами, штатский костюм, сохраняемый втайне, он впервые надевал где-нибудь в канаве, за минуту перед побегом, и, уже пустившись в путь, наспех оглядывал себя в новом обличьи. И тут оказывалось, что костюм на нем трещит, что из узких брюк выпирают ржавые голенища, что грудь без запонки стоит дыбом, а галстук завязан беспомощно, подстать унылому выражению его потной, волосатой, мало европейской физиономии. Сотни мелочей, которых невозможно было предусмот-

реть, вопияли о нем и без задержки приводили его к жандарму.

Что касается путешествий на крыше экспрессов, неизменно оказывалось, что на станциях слишком много электричества и лучше туда не ходить; бумажников с деньгами также нигде не валялось, красивые женщины цепенели, завидев беглого, и делали ему разве ту любезность, что не вмешивались в погоню лично, а наводили на его след мальчишек. Лесники же считали пленных божьим наказанием, ибо от оставляемых ими костров происходили лесные пожары, и относились к ним без пощады.

Пленный мог считать побег оконченным, только когда он переступал голландскую или швейцарскую границу, или же когда он переходил русский фронт с немецкой стороны, — из сотен тысяч беглых это удавалось единицам, остальные попадались снова.

Безразлично, где их ловили: за пять километров от места побега или за сотни километров: внутри Германии, в Австро-Венгрии, в Польше, — или за тысячу километров: в оккупированной Сербии и Румынии, в Албании, Турции, — все это были страны, или занятые немецкими войсками, или находившиеся в союзе с Германией, и как бы далеко они ни отстояли от места побега, беглого после поимки неукоснительно отправляли назад в это самое место. Там велся счет его преступлениям, там ему на опыте доказывали, как бесцельно было его желание выбраться из немецкой мышеловки, а так как побеги отсчитывались на его ребрах, то после второго и третьего возвращения в те же самые лапы беглый начинал задумываться и кончал покорностью.

Был способ защиты — путать фамилии и места приписки, но он годился для немногих, более опытных, и требовал выдержки, ибо каждое показание должно было быть подтверждено телеграфными справками из картотеки того лагеря, на который делалась ссылка.

Рядовой беглый с этим способом попадал в тиски. На первом допросе он придумывал себе какую-нибудь

фамилию, соображая довольно быстро, но все-таки секундой дольше, чем было бы нужно, чтобы вспомнить свою настоящую фамилию. Немец-писарь замечал это и охотно шел ему навстречу. Он сам запутывал дело. Если ему называли фамилию: Овчаров, — он, как бы не расслышав, переспрашивал: «Гончаров?» Он превращал Пестова в Толстого, Попова в Петрова, — и беглый охотно подтверждал это, думая, что теперь он уже запутал немца окончательно. То же самое с именем и отчеством, номером полка и местом приписки. Он уходил с допроса, довольный результатом, и без страха вступал в голодный беглый барак, полагая, что пробудет в нем недолго.

Между тем протокол с его показаниями, как явно фальшивый, никуда не отсылался. На втором допросе, через две недели, беглому сообщали, что по справке в указанном им лагере пленного с фамилией Гончаров в списках не имеется, и еще раз предлагали назвать себя. Он снова придумывал себе фамилию, которая записывалась с той же готовностью, а беглый возвращался в барак, встревоженный, ибо дело затягивалось. Еще через две недели его вызывали снова. Если у него хватало сил, он продолжал комедию, но обыкновенно к тому времени голод делал его покладистым, и он называл свое настоящее имя. В тот же день телеграфная справка подтверждала все им сказанное, и его отправляли к месту приписки для отбытия наказания.

В шестнадцатом году был слух, что беглых, пойманных в Австрии, не возвращают в Германию и оставляют в австрийских лагерях. Вопрос о том: «выдает» или «не выдает» Австрия — интересовал многих, но пленным, работавшим маленькими командами в глухих деревнях, негде было его проверить...

8

Первый побег Кости был совершен по способу фантазеров. Он продолжался шесть с половиной часов, да и

те почти целиком ушли на сон и сиденье в лесу,—иначе его продолжительность была бы гораздо короче. Костя впоследствии стыдился этой своей попытки и рассматривал ее как черновую работу для будущего настоящего побега, но в свое время верил и в экспрессы, и в красивых женщин, в лесников, в свой немецкий язык и особенно в фиолетовую, крашенную химическим карандашом блузу, которая должна была превратить его в немца. Он навсегда отказался от этой шаткой программы в тот момент, когда часовой на опушке леса взял его на мушку; отказался, чтобы немедленно же уверовать в другую программу, в которой не было никаких переодеваний и все было рассчитано на выдержку и кротовью медленность.

В то время он работал в другой местности, в обстановке такой же, как у Альфонса, так же потел и смотрел на горы, и однажды, решившись, вылез из канавы, одетый в фиолетовую блузу и фиолетовые штаны поверх казенного пленного платья. Костюмчик был покрашен в спешке, тайком от всех, окраска легла пятнами, и, когда Костя впервые при ярком свете увидел себя в нем, он чуть не полез назад в канаву: костюмчик годился явно для маскарада.

— Если бы вы хотели, чтобы вас поймали как можно скорее, — впоследствии иронизировал над ним на допросе лейтенант, — вы бы не могли придумать костюма более подходящего... Разве если бы вы накинули сверху красный плащ и несли бы в руках по свежему подсолнечнику.

Костя не полез в канаву, потому что первый шаг стоил ему больших волнений и было бы обиднее всего, если бы он не кончился ничем. Кроме того при путешествиях на крышах экспрессов,—главное, к чему он примеривался, — цвет костюма имел мало значения, и, не оглядываясь, с взрывом энергии он двинулся вперед по давно намеченному направлению, к лесу за холмом. Он шел через поля, пустые в обеденный час, взволнован-

ный, высоко поднимая колени и слегка пригибаясь к земле, как солдат под выстрелами.

Он сам замечал странность своей походки, но ничего не мог с нею поделать. Обычная походка, размеренная, вялая, с оглядкой на конвойного, была для плена; он два года шагал только таким образом и теперь был рад вспомнить, что можно ходить иначе: неровно, с бьющимся сердцем, с опасностью за спиной и неизвестностью впереди.

Впервые после двух лет он почувствовал, как бьется его сердце, и обрадовался, ибо всегда думал, что настоящая жизнь — это тогда, когда у человека бьется сердце. Он наслаждался каждым своим шагом, он не узнавал полей: так странно они изменились, потому что изменился он сам. Он был готов к необыкновенному: может быть, через минуту начнутся все те необыкновенные события, о которых он мечтал два года,—сейчас он принял бы их как нечто само собой разумеющееся.

Потом он посмотрел на часы и пришел в себя: он был в пути всего десять минут и, в сущности, еще никуда не ушел.

Он нарочно выбрал для бегства час, когда на полях не бывает людей. Но это не значило, что он стал бы прятаться, если бы кто-нибудь попался ему навстречу: он полагал, что сумеет обойтись с кем угодно, как немец с немцем: «Гутен таг. Ви гейт'с? Ганц гут. Данк шен» [1] — такова была его программа и, несмотря на первое тяжелое впечатление от фиолетового костюмчика, он не намерен был отступать от нее.

В конце концов люди здесь вежливы, и штатский человек не станет требовать документов у другого штатского человека. А если кто-нибудь полюбопытствует спросить: «Откуда вы?» — всегда можно ответить с полной готовностью:

— Я — Адольф Лайер из Вейденау, кафе у вокзала, к вашим услугам...

---

[1] Здравствуйте. Как дела? Очень хорошо. Спасибо.

Или:
— Я — Эмиль Штейнер из Лаугница, москательная Бадера, Ринг 28.

Десятки фамилий и адресов были заготовлены у Кости для этого случая.

В одном месте, пересекая вспаханное поле, он наткнулся на человека, который стоял, засунув руки в карманы, и в глубокой задумчивости разглядывал развороченную землю. Когда Костя поровнялся с ним, он поднял на него глаза. У него был неприятный рыбий взгляд.

— Таг![1] сказал Костя и мотнул головой, как и полагается немцу приветствовать немца на узком месте.

— Тааг! — удивленно ответил человек.

Взгляд его мгновенно оживился. Веселая догадка мелькнула в его тяжелых глазах, и почти сейчас же он повернулся и пошел прочь, в направлении крыш, показавшихся за склоном.

Костя встревожился: какие такие спешные дела вдруг нашлись у него? Ведь он стоял на месте и никуда не торопился. Не пришло ли ему в голову, что человек, прошедший мимо, есть не то лицо, каким хочет казаться, и не побежал ли он за жандармом?

Костя смерил расстояние до леса и успокоился: на ближайшее время человек с неприятным взглядом не мог быть ему опасен. Лес должен был защитить его. Этот лес был единственным укромным местом на открытой равнине; русские беглые пленные и собственные немецкие дезертиры при своих продвижениях к австрийской границе неизбежно попадали туда и жили там от облавы до облавы, и, конечно, донесение еще об одном подозрительном человеке, скрывшемся в лесу, не удивило бы жандарма и не заставило бы его лететь на поимку немедленно.

В лесу Костя отошел подальше от опушки и спрятался в ельнике. При его приближении какой-то другой

---

[1] Добрый день.

беглый, ломая сучья, бросился от него в гущу: лес был достаточно населен, хотя его жители не могли видеть друг друга из-за густоты ельника. Костя не стал окликать товарища, и, так как до наступления темноты никаких подвигов от него не требовалось, в программе дня наступил пробел, который хорошо было заполнить отдыхом и сном, что Костя и сделал.

Он провел восхитительный день, спал и просыпался под пенье птиц, ходил между деревьями вправо и влево, наслаждаясь уже тем, что сам выбирает себе направление. Он чувствовал себя в лесу как горожанин, которого смущает, что он вошел куда-то, не постучавшись и не спросив, можно ли войти. Но птицы, хозяева леса, повидимому, ничего не имели против него, они пели и перелетали с места на место, точно его и не было рядом, и понемногу он освоился. Ему совестно было рвать цветы, чтобы понюхать их, он ложился на землю, и однажды, принюхиваясь, сделал открытие: земля тоже пахла, она благоухала гнилью рождения, свежестью новой силы, — почему он раньше не замечал этого: ведь он ежедневно топтался по земле, оскорбляя ее своей работой?

Он устал в конце концов от всего прекрасного, что он испытал в этот день, лег снова и уснул и, проснувшись, со вкусом съел ломоть хлеба, запрятанный во внутренний карман военнопленных штанов. Он съел без остатка, потому что ломоть был невелик, и кроме того не было смысла сберегать крохи, — стоило только дождаться темноты и выйти на дорогу, и должны были начаться по порядку все те приключения, которых он ждал и в которых пища подразумевалась сама собой.

В сумерках, свежий и мечтательный, он вышел на опушку. Сучья трещали у него под ногами. Он морщился и ступал, едва прикасаясь к земле, но, так как они продолжали трещать, он бросил осторожность: в конце концов, он — немец в штатском костюме и имеет

право ходить по лесу, не заботясь о том, трещат у него под ногой сучья или нет.

Он даже позволил себе остановиться на опушке и полюбоваться красками горизонта. Он нашел их великолепными. Он подумал, что еще вчера такой же закат не произвел бы на него впечатления, — мир изменился, потому что изменился он сам.

— Да, да... — сказал он вслух, — это оттого, что я не в плену...

И неожиданно какая-то тень прошла по багровому фону, закат продолжал гореть, но уже словно в отдалении, потом он снова придвинулся и снова отдалился, он задвигался в костиных глазах, потому что его ухо в это самое время уловило рядом чьи-то шаги. Он оглянулся, и закат сразу исчез из его головы.

Отделившись от большого дерева, к нему приближался серый человек, с винтовкой на ремне, в черной каске, и знаками звал его подойти. Он подождал и взял винтовку на прицел, но, когда Костя подошел к нему ближе, опустил винтовку.

— Я — Эмиль Лаугниц из Хачкау... — сказал Костя твердо. — Я иду домой...

— Из Хачкау? — повторил солдат, удивленно разглядывая костино одеяние. — Из Хачкау? — повторил он еще раз с усмешкой. — Милый друг, Хачкау — это только пишется на картах, но люди, которые живут в Хачкау, говорят, что они из Гочка. В Гочка люди говорят по-своему, милый друг...

— Это одно и то же... — возразил Костя с остатками нахальства, но, взглянув туда, куда смотрел солдат: на желтый военнопленный лампас, выбившийся из-под фиолетовой штанины, — смутился и замолчал.

— Удрал? — спросил солдат кратко.

— Удрал... — ответил Костя, поняв, что путешествие кончено.

Солдат не был рассержен. Казалось, ему надоело ловить пленных. Он отступил на шаг и поднял над костиной головой приклад, но не ударил; замахнулся на него

штыком, но не уколол. Он толкнул его кулаком в спину и велел итти впереди себя.
— Благодари бога, — сказал он по дороге, — что ты попался мне. Я добрый человек. Если бы тебя поймал Кнаус, он бы убил тебя...
— За что бы он убил меня? — спросил Костя, не совсем веря. — Он имел бы право, если бы я сопротивлялся...
— Я не знаю, за что бы он убил тебя, — ответил солдат раздумчиво, — но это было бы так...
— Твоя душа, — продолжал он потом, — конечно, пошла бы на небо. Но сам бы ты валялся и гнил как собака...

Костя молча шел впереди.
— Нам нужен человек, который бы вымыл нам пол в сторожке. Пока я извещу твоего конвойного и он приедет за тобой, ты отлично успеешь сделать это...

Костя не возражал.
— Кто твой конвойный?
— Бивальд из Либенау... — ответил Костя, впервые поняв, что означает для него встреча при подобных обстоятельствах с Бивальдом из Либенау.
— Бивальд из Либенау? — переспросил солдат не без сочувствия. — Не завидую тебе. Я знаю этого Бивальда и знаю, какой у него кулак. Я совершенно не завидую тебе...

Костя, холодея, вошел в сторожку.

9

Для воскресных дней у Корля имелся чистый пиджак и крахмальная рубашка. Надев их, он возвышался в собственном мнении и, проходя мимо пленных, поглядывал на них снисходительно. Но пленные, видя Корля в воскресном наряде, думали не о его великолепии, а о том, что под крахмальной рубашкой его едят те же вши, что и в будни.

Наступил день, когда Корлю оказалось мало его

пиджака, ему понадобилось быть еще великолепнее, чем в обычные праздники, и он забегал по деревне, разыскивая цилиндр. Он легко нашел его, ибо в деревне цилиндры были не редкость, но оказалось, что к цилиндру требуется изменить и костюм. Пиджак не подходил к цилиндру, а требовался сюртук или черный ульстер поверх пиджака. Кроме того цилиндры и ульстеры были обязательны лишь на похоронах для приглашенных нести гроб, они надлежали событиям скорее печальным, а на свадьбах можно было обойтись и без них. Таким образом, Корль присутствовал на свадьбе без цилиндра.

Это была странная свадьба, ибо невеста, одеваясь к выходу в церковь, еще не знала окончательно, пойдет ли она туда, а жених сидел на своем сундуке в комнате при конюшне, одетый, опустив голову. Между тем, мебель из комнаты Каролины, под руководством Берты, перетаскивалась в новую квартиру Гуго; Фриц и мальчишки с увлечением носили через двор стулья и цветы, берлинская приезжая орудовала на кухне.

Молодые пошли в церковь пешком. Альфонс не отказал бы дать им для этого случая коляску, но им не хотелось привлекать внимание. Потом в мезонине, в новой квартире Гуго, происходило пиршество. Пленные в это время сидели в казарме и играли в очко, а вечером, придя ужинать, каждый нашел около своей тарелки по маленькому штрицелю.

Берлинская племянница, относившая на блюде штрицеля Альфонсу и Марте, остановилась около пленных на минуту и приняла от них благодарность, совершенно искреннюю, ибо штрицели всеми, не исключая Игната, были съедены немедленно и с удовольствием

Конвойный поднялся к молодым наверх и через некоторое время спустился веселый, с блестящими глазами. За ним скатился с лестницы Корль: он был пьян и, споткнувшись, вылетел во двор плашмя. Пленные засмеялись, а Корль, вскочив на ноги, захотел драться. Возможно, ему вспомнилась затрещина, когда-то полу-

ченная от Кости, потому что он остановился именно перед ним, размахивая руками.

— Тише, Корль, — сказал конвойный, оттаскивая его, и в виде особого аргумента добавил, показывая на Костю: — Костя — сержант.

— Сержант он или нет, — крикнул Корль, — он пленный, и я ему дам по морде...

— Предоставь это мне, — тонко улыбнулся конвойный, — когда я найду нужным. Штатские люди тут не при чем...

На следующий день все работали как обычно. Каролина в поле не вышла. Гуго пахал озимое. Корль мыкался с бороной, томясь по точному времени. Пауль, работавший с Костей, вспоминал вчерашний пир и напевал услышанные вчера мотивы. По какому-то случаю он дал подзатыльник Фрицу, вертевшемуся тут же; Фриц захныкал и сказал, что он пожалуется папе...

— Фриш папа,[1] — передразнил его Пауль и с гримасой взглянул в сторону Гуго.

Гуго работал с напором. Ему не терпелось. Получасовой отдых на завтрак казался ему слишком длинным, и он раньше времени взялся за работу. Ему подвернулся Костя, и он дружески пожал его локоть и поблагодарил, точно Костя поздравлял его.

— Конечно, — сказал он, улыбаясь и отвечая каким-то своим мыслям, — свадьба обошлась мне недешево. Но ведь это — раз в жизни. Теперь — фесте шпарен!..[2]

Он посмотрел вперед, полный решимости, и вложил эту решимость в жест, с которым двинул вперед лошадь и взялся за плуг.

10

Лучшее время для побега было уже упущено. Поля опустели, между тем высокая рожь, если войти в нее, не оставляя следа, была надежным убежищем для бег-

---

[1] Свежий папа.

[2] Строгая экономия.

лых на день. На полях Альфонса косцы не раз натыкались на притоптанные круглые места и каждый раз весело взглядывали друг на друга:

— Здесь сидел наш...

Нескошенные овсы еще синели местами, но они были слабой защитой для беглых. Зато картошка, поспевшая к тому времени и невыкопанная, спасала их от голодной смерти. Если пропустить еще две-три недели, на полях остались бы только бурак и пшеница в ящиках сеялок, кроме того из-за холодов побеги в это время делались мучительными, нельзя было пускаться в путь без шинели, которая до зимы висела у конвойного под замком.

В кухне у Марты на стене висел календарь. Костя завел моду, проходя мимо, останавливаться, перебирать листики, щурить глаза и со скучающим видом отходить. Игнат следил за ним, зная, что он это делает не спроста, точно так же, как не спроста в казарме иногда вынимает ученическую тетрадку, купленную в деревенской лавочке и случайно оказавшуюся с картой Германии на обложке, и будто в ней что-то считает. Этим его маневрам Игнат придавал большое значение. С Костей, от которого он ждал знака, он был почтителен: в нем просыпался в таких случаях рядовой, обращающийся по службе к унтер-офицеру. Костя скупо цедил слова, хмурился, давал знак ждать.

Однажды, ложась спать, Костя около параши сказал Игнату:

— Семнадцатого заход солнца в восемь двадцать одну...

— Через пять дней... — подсчитал Игнат.

— Семнадцатого луна — меньше четверти...

Объяснять дальше не требовалось. Если семнадцатого, как и во все последние дни, пленных поведут на ночлег к восьми часам, то, проскочив во время ужина через задние ворота в поле, уже пустое в это время, можно было отбежать до картошки и спрятаться в грядах. Поиски во дворе и беготня за конвойным заняли

бы с четверть часа, а затем из-за темноты поиски должны были бы прекратиться. За ночь же беглецы успели бы отойти настолько далеко, что, даже в случае поимки на следующее утро, их отправили бы не прямо во двор Вейнерта, а через этапы в лагерь на расследование. Это спасало их от первой мести конвойного, которая рецидивисту Косте была особенно страшна.

Семнадцатое засело в голове. За пять дней, что оставались до семнадцатого, в трубу под мостом полегоньку переносилось снаряжение: вторые куртки, мешок с сухарями на неделю, соли для картошки на месяц, табак, спички. Туда же с особенными предосторожностями была запрятана тетрадка с картой Германии на обложке: казалось, без этой тетрадки ничего не выйдет.

Компаса не было. У одного из команды болтался на жилете брелочный компас, но он был нужен ему самому, и кроме того был ненадежен до такой степени, что конвойный не мешал носить его открыто и иронически поглядывал на пленного, который как будто связывал с этой штучкой какие-то надежды. Побег без компаса казался Косте несолидным делом, но в этом пункте Игнат не беспокоился и дал ему понять, что с компасом он устроится.

К удивлению Кости, Игнат лазил под мост на глазах Никиты и других. Гурген при этом усмехался и смотрел в сторону. Между тем Костя знал, что у него был доверительный разговор с конвойным по поводу поднятой над его головой косы: Гурген серьезно опасался за свою жизнь и хотел, чтобы в случае чего убийца был известен. Кроме того совсем недавно он получил от конвойного лишнюю пару сапог, в то время как у иных не было и одной годной пары, — такие любезности делались недаром, и было только неясно: надувал ли Гурген конвойного, или же думал работать для него всерьез?

Семнадцатого Игнат вышел на работу в плюшевом жилете, который раньше надевал только по праздникам, и одно это должно было уже обратить на него

внимание. Лицо его также бросалось в глаза. Оно было торжественное и с надрывом, как у тоскующих, загулявших бородачей, перед тем как им разойтись на весь размах.

Еще хуже, что он не мог обойтись без прощаний: в обед он заблаговременно попрощался с Никитой, своим однодеревенцем, которому изложил свое завещание и поклонился в ноги, а потом с Каролиной и Гуго, очень удивленными его внезапным визитом, во время которого он успел выложить перед Гуго подарок — безопасную бритву, пожать его руку, погладить Фрица, посмотреть на Каролину и быстро уйти, вогнав их в слезы, но никому ничего не объяснив.

Костя со страхом следил за его подвигами, о которых узнавал из третьих рук — до такой степени дело пошло вширь. Он ругал себя за то, что связался с человеком, обставляющим свои побеги так торжественно, и считал дело погибшим. Не лучше ли было с утра сказать Игнату, что побег не состоится?

Семнадцатого Игнат, остановившись перед Костей, вынул из жилета часы, открыл крышку и с значительным видом поднял циферблат к его лицу. Стрелки показывали время на несколько часов назад.

— В чем дело? — спросил Костя, не понимая.

— Я их остановил... — ответил Игнат и замолчал, считая, что сказал достаточно и Костя сам догадается.

Но Костя не догадался.

— Для чего?

— Мои стоят, твои ходят, — неужели не понимаешь?

Костя смутился. Он слышал когда-то, что действительно двое часов, остановившиеся и идущие, могут заменить компас, если только знать, как ими пользоваться, но подробностей он не знал.

— Это очень трудно... — сказал он уклончиво. — Толку не добьешься, а только запутаешься...

— Значит, не можешь? — спросил Игнат, очень удивленный.

— Не берусь... — решительно ответил Костя.

— Как же так? — не понимал Игнат. — На фронте наши разведчики так делали. Я на тебя надеялся...

Костя промолчал. Случай с часами сильно уронил его в мнении Игната, зато и сам он сильно разочаровался в Игнате после его земных поклонов. Он хотел сказать, что побег откладывается, но не решился.

Семнадцатого к работнице Ригер приехал с фронта муж — седой тыловой ландштурман. С утра он сводил счеты с Бертой и другими, кто обижал его жену в его отсутствие. В работничьем доме стоял крик: вопил пофронтовому Ригер, Берта защищалась и визгом, и возгласами, и специальным грудным смехом. Винтер хохотал как посторонний зритель и подзуживал спорящих. К полудню Ригер почистился и пошел в город регистрироваться в гарнизонном бюро.

У Альфонса с обеда молотили. Альфонс послал Пауля наверх сбрасывать снопы, а сам с часами в руках считал, сколько снопов в среднем проходит в минуту, — темп не удовлетворял его. Его раздражал также Костя, придумавший себе облегчение: чтобы не поднимать с земли полных мешков, он отрывал из-под рукавов половинки и мчал их через двор, предпочитая пробегаться дважды с более легким грузом.

Альфонс начал ему что-то говорить, хотел переставить людей у машины, но неожиданно был позван Мартой в дом. Марта заглянула в сарай и показала с порога конверт:

— От Адальберта...

— Сейчас... — отозвался Альфонс недовольно и продолжал распоряжаться, но странная вещь, чуть не впервые за два года никто не мог понять, чего он хочет. Он шевелил губами, он показывал рукой, кому куда стать, он смотрел на людей умоляюще, но может быть потому, что ничего, кроме хрипа, из его глотки не выходило, все делалось не так, как он хотел, и, сбившись с тона, он перестал хрипеть и ушел.

В его отсутствие Никита стал задавать в барабан с прохладой, чтобы дать вздохнуть Косте, которого по-

ловинки затерли. Альфонс вернулся не скоро; он вышел из дома с обвисшим лицом, постоял во дворе, прислушался к звуку молотилки — барабан скрежетал впустую, но стоило ему подойти к сараю, и он опять стал давиться полной дачей: разница была очевидна, он мог бы что-нибудь сказать, но промолчал. Он снова вынул часы, чтобы проследить темп, и, не досчитав, бросил. Казалось, он не хотел ни ссориться, ни говорить.

— Продолжайте, продолжайте... — устало сказал он и прислонился к стенке снопов.

Костя, которому он перед уходом начал что-то говорить насчет его манеры носить мешки, ожидал от него продолжения и взглянул на него с вопросом, но даже и Костю на этот раз Альфонс решил одобрить, чтобы отвязаться от него.

— Я понимаю вас, Костя, — сказал он, тяжело двигая языком, — отнести два раза по полмешка — это то же самое, что отнести один раз целый мешок. Это — тоже система. Таблица умножения за вас, Костя...

И, не кончив, он прислонился к снопам и закрыл глаза. Ноги не держали его. Рукой он шарил около воротника. У него начался припадок удушья. Пауль побежал в дом за Мартой, которая явилась сейчас же с искаженным тревогой лицом.

— Тебе надо прилечь. Идем со мной.

— Пустяки... — сопротивлялся Альфонс. — Мне надо быть здесь.

Гурген сделал жест, чтобы остановить мотор, но Альфонс знаком велел продолжать работу. Припадок у него прошел, но лицо было красно, и ворот растерзан.

— Тебе нельзя дышать этим воздухом, — настаивала Марта. — Идем.

Оба стояли сбоку машины, мешая пленным работать, подгребальщики задевали их граблями; и, словно почувствовав себя лишними, они вышли наружу и под руку двинулись к дому.

Молотилка скрежетала им вслед.

В феспер,[1] когда Игнат, в плюшевом жилете и чистой рубахе, лежал на снопах, было самое время объявить ему, что побег не может состояться и как раз из-за жилета, который ему хочется унести с собой, и из-за рубахи, так некстати чистой. Но, когда он увидел светлое и прощальное выражение, с каким Игнат смотрел вокруг, он отошел от него, ничего не сказав. Люди с таким выражением уже неспособны ни на какие отсрочки. Он чувствовал себя на поводу у Игната, и ему оставалось только ждать вечера.

В феспер из города вернулся ландштурман Ригер. Он был пьян и шел по прямой, улыбаясь встречным. В городе, проходя мимо редакции газеты, он видел плакат с последними известиями. Он помахал пленным рукой и ласково объявил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен. Руссланд вюншт фриден[2]...

Никто не понял его, и только Костя переспросил:

— Оффензива? Какая оффензива?

Ригер пожал плечами. Он сам не очень твердо знал, где происходило дело. Он посмотрел вверх, словно восстанавливая в памяти слова на плакате, и еще ласковее повторил:

— Руссише оффензиве ист дурхгеброхен...

Затем он взял под козырек и проследовал к себе.

В феспер, выдавая пленным по ломтю хлеба с творогом, Марта в раздумьи сказала Косте:

— Вы берете хлеб с таким видом, точно вы несчастнейший человек в свете, и конечно думаете, как от нас убежать... Между тем вы совсем не так несчастны.

Костя насторожился: не было ли странно, что она заговорила о побеге именно сегодня? Не очевидно ли, что последняя курица во дворе Вейнерта уже осведомлена об этом предприятии?

Но оказалось, что предисловие понадобилось Мар-

---

[1] Феспер — вечерний перерыв.

[2] Русское наступление прорвано. Россия хочет мира.

те, чтобы перейти к вещам, более для нее интересным:
— Есть люди, которым приходится гораздо хуже. Наш Адальберт — вы его застали, когда приехали к нам — он сейчас в окопах. И вот что он пишет: «Французы от нас не дальше, чем от крыльца до большой липы. Они работают огнеметами»...

Она посмотрела на огромную липу сейчас же за оградой и улыбнулась искаженной улыбкой.

— Так было четыре дня назад. Кто знает, где он сейчас? Огнеметы — ужасная вещь...

Она еще раз взглянула на липу, задумалась и потеряла интерес к разговору с Костей. Костя подождал и повернулся к выходу. В другое время он посочувствовал бы Марте, сейчас он был доволен. Болезнь Альфонса, письмо Адальберта, пьяный Ригер и прочие необыкновенные вещи, случившиеся за день, — все это были плюсы, облегчавшие побег и уравновешивавшие минусы от неосторожного поведения Игната.

Конвойный ужинал в этот вечер в другом хозяйстве, через много дворов от Альфонса, и это также было огромным плюсом. Пленных в казарму должен был вести кто-нибудь из работников — Корль или Пауль. Зато очень большим минусом была погода: вечер, как и день, был жаркий, безветренный. В такую погоду люди не торопятся уходить с полей, а часовые не прячутся в караулки и не подымают у шинелей воротников.

В семь пятнадцать Костя сказал Игнату, что бежать в такую погоду бессмысленно. Игнат взглянул на него с негодованием и твердо ответил:

— Если ты трусишь, я и один уйду...

И Костя и обиделся и обрадовался в одно время.

В семь тридцать сели за стол. Все обстояло как всегда и только необычная ласковость во взглядах товарищей угнетала Костю, напоминая, что побег без полной тайны — треснувшее дело. Даже Гурген смотрел светлее обыкновенного и повидимому сочувствовал без фальши. Откуда-то не в очередь появился на стол большой японский огурец, нарезанный и с уксу-

сом — дар стряпки пленным, и это событие, до тех пор не случавшееся, свидетельствовало, что и стряпка через Никиту была посвящена в дело.

Без четверти восемь Игнат, прожевывая огурец, встал и толкнул Костю локтем. Он вышел словно за делом во двор и не спеша прошагал к калитке на полевую дорогу. Костя шел в нескольких шагах, морщась и до слез благодарный Игнату за то, что он все-таки встал без четверти восемь.

Семьдесят шагов до калитки еще не решали дела. До калитки можно было спиной и походкой изображать, что идешь не торопясь, по своему делу. За калиткой дело менялось. За калиткой Игнат побежал: задыхаясь, оглядываясь на Костю, на ходу накрещивая себя по плюшевому жилету. Под мостом оба с разных концов слазили в трубу и вылезли оттуда потолстевшие, в двух куртках, с мешками.

От моста пришлось взять вправо мимо картофельного поля, ибо по левой дороге двигались какие-то тени. Некогда было особенно разглядывать, что это были за тени, надо было дать им отойти, а самим с угла залечь под зелень в картофельные гряды. От угла дорога шла под обрыв, и у теней создалось бы впечатление, что встреченные ими люди пропали в обрыве, в то время как на самом деле они лежали в зелени у самых их ног.

Одна из теней, самая маленькая и согнутая,— Шульц, возвращавшийся с картошки,— не останавливаясь, плелась вперед и исчезла. Темный предмет у тени через плечо был несомненно знаменитым осенним пальто, спасаемым от воров. Две другие тени — Аннемари и Каролина—остановились и осмотрелись. Аннемари, встретив непонятных прохожих, не могла итти дальше, не выяснив, что это были за люди.

— Это Руди Рихтер с кирпичного завода, — предположила она, радуясь быстроте своей догадки, — он сменился в семь и заходил к Криштофу за картошкой...

Каролина молчала.

— А второй, — продолжала Аннемари,—конечно, Кристен Франц. Руди и Франц друзья, и у Франца есть черная куртка.

— Ах, нет, — возразила Каролина резко и с неудовольствием, как всегда, когда Аннемари начинала путать. — Руди Рихтер и выше и толще. Он самый высокий мужчина в Козельберге...

— Ну, значит, это Барфус Пауль, — сказала Аннемари, все еще весело, но уже с меньшей уверенностью, — а с ним младший сын, тот, что вернулся с войны...

— И не Барфус также, — еще резче оборвала ее Каролина. — Фрици Барфус вернулся с войны на деревяжке. А эти двое шагали обеими ногами...

— Тогда, может быть, это братья Бишоф? — в третий раз предположила Аннемари, но тон ее из утверждающего стал вопросительным. — Они приехали в отпуск?

— Мой бог! — громко и страдальчески вскричала Каролина. — Неужели ты забыла, что оба Бишофа уже два года, как убиты на войне?

— Ах, да, — испуганно вздохнула Аннемари. — Я совсем забыла...

Она сказала еще что-то, тихо и с переходами голоса, как бы оправдываясь, и смолкла совсем. Больше она не решалась ничего предполагать.

Тени постояли еще минуту и двинулись дальше.

— Знаешь, кто это? — вдруг из отдаления послышался голос Каролины, подстегнутый болью, звонкий голос, совершенно непохожий на тот профессорский тон, каким Каролина только что говорила с Аннемари. — Знаешь?

— Кто? — басом спросила Аннемари, снова по-детски любопытная. — Ну, говори.

— Это...

Слов не было слышно, но тонкий сдавленный плач, донесшийся издалека, тоскливый плач по утраченном навсегда, вдруг потрясший Каролину, показал, что она правильно разгадала, кто были необычные пешеходы, по крайней мере, кто был один из них.

Этот плач слышался некоторое время, потом смолк и он.

11

В восемь двадцать девять на средней полевой дороге показался зеленый огонек: конвойный на велосипеде объезжал владения Альфонса Вейнерта, повидимому, для очистки совести, ибо сумрак уже становился чер-ным. У оврага дорога кончалась; огонек сделал круг и повернул назад.

— Завтра приведут собаку...—неожиданно решил Ко-стя, хотя мысль о собаке до тех пор не приходила ему в голову.

— А если еще сегодня ночью? — подхватил Игнат, сразу уверовав в собаку.

Собака была враг, гораздо более опасный, чем плы-вущий в темноте огонек, чем завтрашняя облава моло-дежи. В казарме остались вещи с их запахом: солома на нарах, попоны, мешки с брошенной мелочью, — ни-кто не предупредил товарищей, что вещи после них надо перепутать, спрыснуть дезинфекцией, пересыпать паприкой, а сами они едва ли догадаются.

— Догадаются, — сказал Игнат с полной уверен-ностью. — Ты нашей команды не знаешь...

Были и другие доводы, утешительные для беглецов:

— Собаку Альфонсу пришлось бы выписывать из го-рода за свой счет...

Кроме того:

— Альфонсу сейчас не до собак...

И главное:

— Если всех беглых пленных немцы будут ловить с со-баками, то в Германии нехватит собак.

И все-таки, если при всех неудобствах ночного пе-редвижения — без дороги, с оглядками и заметанием следов, с длительными пережиданиями в канавах и ред-кими вылазками на перекрестки для чтения надписей на столбах — они в первую же ночь откачнулись от Ко-зельберга на шесть километров, — этому немало помог

призрак полицейской собаки, от которой они не ждали спасения.

С рассветом они залегли в яму на холме, откуда горы на горизонте были попрежнему далеки, но куда достигал гудок кирпичного завода близ Козельберга. Сам Козельберг лежал в отдалении внизу, и отчетливо была видна большая липа, о которой писал Адальберт.

Они провели мучительный день в ожидании собаки, а к ночи собака погнала их дальше. Она преследовала их еще несколько дней, но так же безрезультатно, и понемногу они перестали ее бояться. Вероятнее всего, никакой собаки и не было, а был всего лишь телефонный звонок от конвойного по начальству и на границу, где чья-нибудь скучающая рука приписала к огромному списку беглых пленных еще две фамилии, с отметкой, что в случае поимки русских с такими-то фамилиями, их следует направить в Козельберг, в команду с таким-то номером.

Гроза и дождь на шестой день побега помогли им перейти австрийскую границу. Многие беглые благословили эту прекрасную ночь, когда у часовых затылки и уши были запрятаны в воротники, когда штыки за их спиной наводили ужас на них самих, ибо могли привлечь молнию, когда они обходили свои участки, подхлестываемые дождем, с единственной мыслью поскорее смениться и без желания хвататься за винтовку даже и при достаточно подозрительном шорохе.

В Судетах, далеко за пограничными столбами, весь следующий день отдыхали. Лесные места, мало людей: приятно, проснувшись после тревожной ночи, полежать на солнце под кустом дикой малины, срывая ягоды губами. Приятно сознавать, что собаке нет хода через границу. Еще веселее представлять себе, как с каждым днем вытягиваются лица в Козельберге, — сведений о поимке беглых с такими-то фамилиями не поступает и не поступает... Совсем весело от уверенности, что таких сведений туда уже и не поступит: Козельбергу — точка...

После приятного дня наступила ночь, и ночью Судеты показали, что для побегов они малоподходящее место. Дороги в горах круговые, по спирали — кольцо спирали во много верст, а на самом деле служит для того, чтобы поднять телегу с грузом на десяток сажен. Можно наплевать на дороги и всю ночь продираться сквозь ельник с направлением как будто на восток, чтобы утром притти к тем же самым местам, откуда вечером вышли, и даже найти след от своего вчерашнего костра. А если такая история повторится не раз и не два, лучшие друзья посмотрят друг на друга с разочарованием и заведут каждый свои особые мысли.

Призрак собаки исчез, но вскоре исчезли и сухари, до конца съеденные. Картофельные участки попадались редко и то лишь у избушек лесников, от малины и грибов тошнило. Падала дисциплина: на рассвете, чтобы выдержать стужу, уже требовалось жечь костер, без чего прежде обходились.

Днем Костя, с выросшей бородой, разглядывал карту:

— Здесь Австрия входит в Германию острым углом. Мы пересекли одну сторону угла, но стоит нам чересчур углубиться в том же направлении, и мы снова вылезем в Германию...

Он подвигал карту Игнату, словно оправдываясь и прося его убедиться, но Игнат смотрел строптиво:

— Кто его знает...

Костина карта уже не вызывала в нем почтения.

— Где фронт? — спрашивал он кратко.

Костя показывал. До фронта спичка укладывалась три раза.

— А сколько мы прошли?

Кусочек — чуть побольше спичечной головки.

Игнат откидывался, возмущенный и с удивлением.

— Когда же мы придем?

— Видишь ли, Игнат, — осторожно начинал Костя: — добраться до фронта в один прием нам едва ли удастся. Но есть другой способ: мы отойдем подальше в Ав-

стрию, нас арестуют и отправят в австрийский лагерь, а оттуда на работу — куда-нибудь в Галицию — и вот уже мы ближе к России. Снова побег, снова арест — новый лагерь, еще ближе к России, и наконец...

Игнату такая бухгалтерия не нравилась:

— Если нельзя на фронт, чего было трепаться?..

Он не верил взятому Костей направлению. Несколько раз он говорил о каких-то высоких трубах, идущих сплошь на десятки верст, о воздушных ваго-нетках на столбах из железной паутины, об огромных зданиях из стекла, которые он видел по дороге в плен, через верхнее окошко запертого товарного вагона, и которые желал увидеть на обратном пути. Судя по ла-герю, куда его привезли, он говорил о трубах Силез-ского горного округа. Костя уверял его, что сейчас они взяли на юг и трубы остались в стороне, но Игнат снова и снова возвращался к ним.

Его сведения из географии были очень спутанные. Однажды в Судетах, выйдя в темноте на берег горного озера, он серьезно спросил Костю: не Черное ли это море и не попали ли они случайно в Турцию? Между тем, был всего десятый день побега, из которых по-следние четыре они топтались на месте.

В Судетах Костя оказался во всем виноват. Он не умел делать компас из двоих часов, и из-за этого дело гибло. На досуге он пробовал своим умом догадаться, в чем тут был секрет, брал у Игната часы и подолгу вер-тел их в руках. Игнат иронически наблюдал его. Со-всем другое лицо было у него теперь, не такое, как в первые дни, когда на отдыхах подкладывал он Косте лучшие сухари с черемухой или когда ночью на пере-крестках подставлял спину, чтобы Костя прочел над-пись на столбе.

Костя теперь долбил одно: надо держаться на во-сток. Но где он, этот восток, когда ночью плутаешь среди деревьев, не видя звезд. Косте казалось, что Игнат, живавший в пермских лесах, должен лучше его находить направление. Об уменьи Игната ходить по ле-

сам у него были преувеличенные представления, такие же, как у Игната о его карте и его немецком языке.

— Игнат, — спрашивал Костя с надеждой, — где восток?

Игнат долго соображал и показывал в какую-нибудь сторону.

— Игнат, — спрашивал Костя через некоторое время, снова запутавшись: — где восток?

Игнат показывал, но уже соображал гораздо меньше.

В дальнейшем промежутки между вопросами и ответами делались все короче, в жесте были досада и небрежность, и как-то раз Костя заметил, что Игнат с одного места показывал в разных направлениях. Так мог делать человек, только разуверившийся в побеге, смеявшийся над товарищем и таивший свои особые мысли.

Однажды ночью, в самое горячее время, они сидели без толку над обрывом, утомясь скитаниями по местам, на которых они уже были.

— Нам надо вниз... — вдруг сказал Игнат, как командир, показывая на чащу ельника, покрывавшую обрыв. — Вставай...

— Зачем нам вниз? — удивился Костя. — Мы там были вчера. Мы ходим вокруг одной и той же горы.

— Все равно, — настаивал Игнат. — Итти так итти. Нечего сидеть...

— Но зачем через чащу, когда есть тропа? — сопротивлялся Костя.

— Как знаешь! — крикнул Игнат, задыхаясь.

Он ринулся вниз сквозь дебри, сопя, работая руками. Костя невольно двинулся за ним, попадая под удары раздвигаемых им ветвей. Он считал, что в Игнате говорила потребность преодолевать препятствия, что-нибудь делать, чем-нибудь утолить бушевавшее в нем раздражение человека, готовившегося к подвигам, но попавшего в нудную заводиловку. Он считал это признаком еще сохранившейся в нем энергии и был рад

этому, ибо сам от голода давно предпочитал сидеть на одном месте и мрачно размышлять.

Но вдруг он заметил, что Игнат словно меняет след, он зарывается в кусты все дальше в сторону, иногда затихает, и тогда кусты перестают шуметь, — было похоже, что он попросту хочет убежать от Кости, как от досадного, потерявшего кредит командира.

— Игнат! — окликнул Костя тихо. — Игнат!

Никто не отвечал ему, и почти сейчас же, через несколько шагов, он наткнулся на Игната, который должен был слышать его зов, но не отозвался.

— Я здесь... — выдохнул Игнат, глядя мимо Кости. — Я здесь. Чего тебе?..

Место, куда они пришли, было, как и говорил Костя, одним из поворотов круговой дороги, по которой они плутали уже несколько дней.

Днем, в прикрытии, устав от дум в одиночку, разговаривали. Игнат все чаще вспоминал о Козельберге: как они там без них? Выкопали ли картошку? И кто теперь отгребает у машины? И кому в эту зиму Альфонс поручит делать грабли, которые в прошлую зиму делал Игнат? К этим вещам у него был интерес и теплота, и было видно, что Козельберг повернулся к нему другой стороной.

— Из-за чего я от них бежал? — задал Игнат сам себе вопрос и, подумав, ответил: — из-за конвойного... Хозяева его кормят, и пленный у него всегда виноват...

Костя не поверил, чтобы все дело было у него в конвойном, но промолчал.

— Впрочем, — перебил сам себя Игнат, — конвойному иначе нельзя. Не будет потрафлять, его из деревни выживут, на фронт отправят... Альфонс — вот кто главный командир. Гордец, пленных за людей не считает... Блошивую солому назад требует... За два года работы — двадцать папирос...

— Впрочем, — продолжал он размышление, — не в Альфонсе дело. Он хозяин, ему нельзя распускаться.

Марта — вот главная язва. Ведь это она конвойного на меня натравила...

Еще дальше нашлось оправдание и для Марты. Костя ждал, когда дело перейдет к свадьбе Гуго и Каролины, которую он для Игната считал главным поводом к побегу, — но или он в Игнате ничего не понимал, или Игнат не хотел быть с ним искренним, — о них он промолчал.

Одно было несомненным: Козельберг снова стал для Игната местом, о котором было приятно вспомнить. А когда человек в побеге начинает смотреть не вперед, а назад, это означает, что к такому человеку бесполезно обращаться с вопросами, где восток и где запад, ибо ему это уже безразлично и все его мысли, вольно или невольно, клонятся к тому, чтобы быть арестованным.

Ночью добыли картошку и в яме в лесу разложили костер. Стало уютно, но между делом Игнат сказал, будто в эту ночь, плутая, они переступили какие-то камни, похожие на пограничные, — в свое время он не придавал этому значения, а сейчас вспомнил.

Костя взволновался. Последнее его утешение — уверенность, что он находится в Австрии, а не в Германии, заколебалось.

— Туши костер, — сказал он резко. — Опасно...

— Это зачем? — недружелюбно ответил Игнат, заслоняя собой костер.

Костя отступил.

— Ты точно помнишь, что это были камни? — спросил он еще раз.

— Как будто...

— Да и не все ли равно: Австрия или Германия? — тяжело засмеялся он потом. — Сдаваться надо, сержант, вот что... Не вышло наше дело...

— Игнат, — выдвинул Костя последний довод: — ты бежишь в первый раз, тебя простят. А мне за второй побег, если я к немцам попаду, знаешь, что будет?

— Вот и выходит, — ответил Игнат, — что у нас с вами

шкура трещит по-разному. Если вам наш костер не нравится, можете себе отойти и прятаться, как хотите. А мне — плевать. Я желаю у костра сидеть...

— Прощай! — сказал Костя, вставая, взбешенный, но довольный тем, что дело наконец пришло в ясность. — Будешь в Козельберге, кланяйся Альфонсу.

Он рванул котомку и пошел в темноту.

— Стой! — переждав момент, вскочил Игнат. — Так нельзя... Надо по-хорошему...

— Я не виноват, что так вышло, — сказал он, когда Костя снова подошел к огню и остановился, не кладя мешка на землю. — Мы вместе пошли на это дело, мы столько времени были товарищами. Скажи, что мы расходимся по-хорошему!

— Конечно, — сказал Костя, тяготясь объяснением, — ты не виноват в том, что мне нельзя сдаваться...

Он торопился уйти. Он словно боялся, что Игнат вдруг раздумает и снова захочет честно продолжать побег, и тогда он не будет знать, что ему ответить.

— Подожди, — остановил его Игнат.

Он развязал котомку, достал пачку табаку, отсыпал немного в табачницу, остальное протянул Косте.

— Это тебе...

Он выгреб из золы картошку, большую часть отделил Косте, ему же отдал спички, всю соль, снял с себя какую-то добавочную, споротую где-то подкладку, которую носил от холода.

— Мне уже не надо. Если ночью меня не загребут, сам завтра на дорогу выйду...

На прощанье они поцеловались. Они перестали быть ярмом друг для друга, и опять в их отношениях появилась прежняя сердечность.

— Что же... — сказал Игнат раздумчиво, на самый конец, — у тебя карта. Может, ты с ней чего и добьешься.

И снова почтение к карте было в его голосе.

Отойдя, Костя долго разглядывал костер. У огня, успокоенно потягиваясь, заложив руки под голову, лежал Игнат и смотрел вверх: в такой позе перед побегом

он лежал на снопах, и, может быть, та же ясность и решимость были теперь в его душе: как и тогда, он твердо знал, что ему предстоит делать.

Костя мыкался еще три дня: по карте—все еще в пределах спичечной головки. Главной его заботой было найти пограничные столбы, которые будто бы они во второй раз перешли с Игнатом, узнать: в Австрии ли он или в Германии?

Ночные переходы попрежнему никуда не подвигали, он стал похаживать днем, — подготовляя себе этим провал, — мерз на рассветах, отсыпался на солнце в полдень.

Солнца было мало, из ям и из прикрытий тело тянулось к теплу, осторожность забывалась, и однажды он проснулся не сам, не от того, что выспался, и не от начавшегося дождя, — его разбудило чужое и неласковое прикосновение.

Открыв глаза, он прежде всего увидел палку, пахучую, свеже вырезанную, концом которой кто-то шевелил его локоть. Выше палки была корзина с грибами, а еще выше востренькое бородатое лицо. Человек был очень мал ростом и носил драное платье. Он ничего не говорил, но смотрел на Костю с угрожающим лицом.

— В чем дело? — сказал Костя, вставая, с независимым видом. — Вы штатский человек, какое вам дело? Идите своей дорогой...

Но человек застучал палкой о землю, поставил корзину под дерево и схватил Костю за руку.

— Я никому не делал вреда, — сказал Костя тоном убеждения. — Не мешайте мне итти, куда я иду...

Человек задвигал губами, коротко промычал и, дернувшись, потащил Костю за собой. У него была цепкая рука. Костя, упираясь, продолжал говорить. Он перешел к просьбам, он простым и ясным образом доказывал ему, что он не злодей, а пленный, и идет домой в Россию, и что только человек без сердца может ему в этом мешать, он обращался к его жалости, но человек тряс головой все яростнее и, выбрасывая слюни,

мычал. Наконец, Костя понял, почему он не отвечает ему: он был глух и нем, — можно было до вечера распинаться перед ним, и он все равно не понял бы ни звука. У Кости опустились руки, и он молча пошел впереди человека, который одной рукой держал его за плечо, а другой держал наготове палку.

По одну сторону дороги был редкий сосновый лес, по другую — поле с работающими на нем людьми. Костя посматривал в сторону леса, и человечек, заметив это, снова замычал и застучал палкой, а затем, забежав вперед Кости, повернулся к нему с улыбающимся и хитрым лицом и начал что-то показывать на пальцах.

Повидимому, от мер устрашения он решил перейти к мерам убеждения. Он показал на лес вдали, помотал пальцами у себя под носом и сморщился, точно от дурного запаха.

Это могло означать:

— Не ходи в лес: там плохо пахнет...

И Костя, ошарашенный его преувеличенной мимикой, так и понял его, и с удивлением посмотрел на лес, соображая, что бы там могло плохо пахнуть?

Человечек еще раз показал на лес, сделал зловещее лицо, схватил себя сзади за шею и кляцнул зубами.

Это означало:

— Не ходи туда: там тебя схватят за шею...

Затем он повернулся в другую сторону, где за полем были видны яркие черепичные кровли, и изобразил на лице восхищение. Все в этой стороне было прекрасно. Он показал, будто что-то ест и что-то пьет, и перевел палец на Костю, давая понять, что пить и есть дадут Косте. Он несколько раз ткнул Костю пальцем в грудь, чтобы у него не оставалось сомнений.

Его резкая и страстная мимика в первые минуты действовала на Костю подавляюще, невозможно было оторвать взгляда от его лица, но очень скоро Костя привык к нему и стал соображать. Кем, собственно, был этот человечек, явившийся мычащим препятствием на

его пути: каким-нибудь десятым помощником лесника, вооруженным только палкой? Не позорно ли сдаваться глухонемому? Не лучше ли: показать ему кулак и броситься от него в сторону, в тот самый лес, в котором плохо пахнет? Если люди, работающие на поле, не захотят бросать работу, дело может выгореть.

Толкнув человечка в грудь, он бросился через жнивье к лесу. К его удивлению человечек, пронзительно промычав, побежал не за ним, а в противоположную сторону, к людям на поле, дико размахивая палкой. Люди на поле, повидимому привычные к подобным делам, сейчас же отозвались и бросились вдогонку. Костя, задохнувшись, остановился: нельзя было рассчитывать уйти от стольких преследователей. В деревню он вошел со связанными руками, под конвоем того же человечка и под наблюдением издали всех остальных.

Деревня называлась Вейсбах. Это он прочел на столбе. Там было еще написано, сколько в ней было жителей, но ничего не говорилось — в Австрии она или в Германии. Люди говорили по-немецки. Костя, мучаясь неизвестностью, шагал вдоль домов.

Седой военный, в белых штанах, черном мундире и с галуном на кепи, шел ему навстречу. Это был несомненный австрияк, сельский жандарм, принявший Костю в свое ведение. Он был дружелюбен, с первого же слова вспомнил, что человек, столько дней проведший без крова, должен хотеть есть, и повел его к старшине, который и должен был придать его дружелюбию вещественное оформление и накормить Костю хлебом и кофе.

Затем на голову Кости одна за другой обрушилось несколько радостей.

По дороге в арестный дом жандарм сказал ему:

— Если вы хотели в Германию, вы не добежали совсем пустяка: граница — вон там. . .

Он показал как раз на лес, в котором плохо пахло и куда по счастью не добежал Костя.

— Но раз вы в Австрии, — продолжал он, — вы в Австрии и останетесь. По новому указу, Австрия не выдает пленных...

К ночи Костя был доставлен в уездную тюрьму. Там уже несколько дней сидел Игнат, дожидаясь отправки внутрь Австрии.

СОДЕРЖАНИЕ

Четыре немца 5
Вступление в войну 66
Кривым путем 91